

# КОРОЛЕВА

исторического романа



*Анастасия  
Туманова*

Княжна-  
цыганка

Цыганская сага

Анастасия Туманова

**Княжна-цыганка**

«Автор»

2012

**Туманова А.**

Княжна-цыганка / А. Туманова — «Автор», 2012 — (Цыганская сага)

ISBN 978-5-699-71554-1

Тяжела жизнь в цыганском таборе. Но именно табор стал домом для княжны Мери, бежавшей из родных мест после гибели родителей. Спасая свою жизнь, Мери не знала, что сердце она уже никогда не спасет. Любовь к цыгану Сене меняет ее до неузнаваемости, и даже разлука не способна убить надежду увидеть возлюбленного еще раз... Цыганка Дина ненавидит таборную жизнь и, влюбившись в чужака, мечтает убежать с ним. Но после вестей о смерти любимого вынуждена выйти замуж за другого. Две подруги, две судьбы, такие одинаковые и такие разные. Любовь каждой мучительна, жизнь – обречена на одиночество, но каждая верит, что они еще будут счастливы. Книга также выходила под названием «Наша встреча роковая».

ISBN 978-5-699-71554-1

© Туманова А., 2012

© Автор, 2012

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

48

# Анастасия Туманова

## Княжна-цыганка

© Туманова А., 2012

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо»

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

– Вы – Антонина Яковлевна Баулова, урожденная Дмитриева, 1896 года рождения, артистка петроградского цыганского хора?

– Да.

– Прибыли в Москву из Петрограда сегодня?

– Да.

– Живете в Петрограде давно?

– Восемь лет.

– С какой целью прибыли в Москву?

– У меня здесь жили родители и младшие братья с сестрой, я думала найти их.

– Вам известно, где они находятся?

– Нет. От них не было писем уже полгода.

За массивным письменным столом – короткая пауза.

– И вы приехали в Москву только сейчас?

– Я была больна тифом в Питере. Раньше приехать не могла никак.

Снова молчание за столом. Молодая женщина с темным худым лицом сидела напротив следователя очень прямо, не поднимая ресниц. Черное платье и траурный шарф, накинутый на едва отросшие, густые и курчавые волосы, еще сильнее подчеркивали ее смуглоту, запавшие прогалины под скулами и коричневые усталые круги у глаз.

Чувствуя на себе внимательный взгляд следователя, Нина упорно не смотрела на него. Казалось, что сделай она это – и человек за столом сразу почувствует ее смертельный страх, который, как женщине чудилось, пах остро и резко на все здание ЧК.

– Итак, родные вам не писали?

– Нет.

– Вас это не тревожило?

– Не особенно. Такие сейчас времена.

– Вы знаете, где находятся сейчас ваши родные?

– Нет. Вы уже об этом спрашивали.

– Вы знаете, почему вас вызвали сюда?

– Нет. – Далее смотреть в пол было уже невозможно, и Нина наконец подняла глаза. На то, чтобы удерживать на лице выражение спокойствия пополам с недоумением, уходили последние силы, она всерьез опасалась грохнуться в обморок. К тому же в тесном кабинете нечем было дышать от духоты. Май 1920 года выдался теплым и сухим. Каждый день над Москвой прокатывались короткие сердитые грозы, едва успевавшие прибить пыль на тротуарах и растрепать молодую листву в садах, но этим вечером, кажется, должно было полить по-настоящему. Глядя

через плечо следователя в закрытое, все в пыльных потеках окно, Нина видела обложившую небо фиолетовую тучу, время от времени лениво посвечивающую молниями. Страшно хотелось пить и еще больше – папиросу. Но Нина понимала, что об этом нечего и думать, и продолжала в упор, как можно безмятежнее смотреть на сидящего перед ней следователя.

Это был темноволосый широкоплечий человек с некрасивым, осунувшимся от усталости лицом. Серый потрепанный френч казался слишком узким для его кряжистой фигуры. Говорил он медленно, то и дело запинаясь, словно отвечал плохо выученный урок, глядя при этом не на задержанную, а в лежащие на столе бумаги. Когда мужчина внезапно поднял голову и посмотрел на Нину в упор, та невольно вздрогнула: настолько неожиданно было увидеть светлые, почти прозрачные глаза на сожженной загаром физиономии следователя ЧК. Через все его лицо по левой щеке тянулся шрам. «Какой молодой... – машинально подумала она. – А шрам старит...»

Молодость следователя неожиданно придала Нине уверенности.

– Простите великодушно, нельзя ли попросить воды? И... отчего вы не откроете окно? Очень душно, идет гроза.

– Да, конечно, – поспешно сказал он, беря со стола графин с желтоватой водой и наливая ее в стакан, который Нина жадно выпила до дна.

– Еще?

– Да... вы очень любезны, благодарю.

Налив для Нины второй стакан, следователь отошел, чтобы открыть окно. Старые, прожавевшие замки на рамах не поддавались, и человек во френче вполголоса выругался. Наконец форточка с пронзительным скрипом распахнулась, и в комнату, взъерошив стопку бумаг на столе и сдернув с головы Нины шарф, ворвался порыв теплого, сухого ветра. Одновременно яростно грохнуло за окном, и сразу же потемнело. Несколько тяжелых капель ударило по подоконнику.

– За что же я арестована, товарищ?.. – решительно начала Нина – и осеклась, поняв, что совершенно не помнит, как зовут этого человека. Когда двое солдат ввели ее в кабинет, следователь, разумеется, представился, но Нина была так перепугана, что все слова пропустила мимо ушей.

– Наганов. Максим Егорович. И вы, Антонина Яковлевна, напрасно испугались. Вы не арестованы, а задержаны.

– Но почему?..

– Потому что вы – дочь человека, которого советская власть подозревает в убийстве комиссара и трех красноармейцев.

Нина изумленно смотрела на Наганова.

– Господи, да это же чушь, чушь!.. – прошептала она. – Глупость! Отец?! Как он мог?!

– В вашем доме на Живодерке нашли пятерых убитых. И шестого – в верхнем этаже. – Наганов пробежал глазами одну из лежащих перед ним бумаг. – Этого последнего одна из свидетельниц опознала как Солонцова Юрия Георгиевича, офицера деникинской армии. Ваш отец прятал в доме вражеского шпиона, Антонина Яковлевна.

«Я сейчас умру», – в отчаянии подумала Нина, закрывая глаза. Вслух же холодно произнесла:

– Не могу поверить. Вы, товарищ Наганов, должно быть, не знаете, но отец не мог идти против советской власти! Его хор выступал для красноармейцев, мамино пение сам товарищ Луначарский хвалил, им паек в комиссариате выписали, и...

– Знаком ли вам Прохарин Дмитрий Павлович?

Вопрос был столь неожиданным, что Нина умолкла на полуслове и растерянно уставилась на Наганова. «Как это странно... – вдруг совсем не к месту подумалось ей. – Сам черный, как сапог, а глаза – прозрачные...»

– Как вы сказали? Прохарин? Нет... Не припомню. Кто это?

– Есть подозрение, будто цыган.

– Чей он? – машинально спросила Нина, но, тут же сообразив, что для русского человека такой вопрос бессмыслен, уточнила: – Какого рода, как его называют цыгане?

– Это имеет значение? – Наганов, похоже, искренне удивился. Нина торопливо закивала, и он, подумав, медленно проговорил: – Мы не располагаем такими сведениями. Сам Прохарин отрицал, что является цыганом. Он служил в комиссариате, и доподлинно известно, что в тот день, когда случилось убийство на Живодерке, этот человек вместе с комиссаром Щукиным и солдатами Федоровым, Гнатюком и Демиченко пришел в дом вашего отца, чтобы арестовать белогвардейского ротмистра, которого прятали цыгане. Среди убитых Прохарина не обнаружили, он исчез.

– Боже мой, но ведь ясно же, что он всех и убил! Он, этот ваш Прохарин! И, клянусь, вовсе он не цыган! – взорвалась Нина так, что Наганов невольно отшатнулся от полыхнувших ему прямо в лицо черных, длинно разрезанных глаз с ярко блеснувшим белком. – Никогда цыгане не убивают людей!

– Тем не менее произошло убийство революционных солдат, гражданин Баулова! – повысил голос Наганов, и Нина, опомнившись, умолкла. – В доме тех самых цыган, которые, по вашему, не идут против власти, обнаружен белогвардейский шпион! Ваша семья пропала из Москвы без следа! Цыгане, все как один, орут, машут руками, воют, крестятся... и хоть бы кто-то заговорил по-человечески! «Мы по-русски плохо знаем, начальник, мы люди дикие, неграмотные, ничего не понимаем, у нас дети...» – и так до самой ночи! А вы говорите – сам товарищ Луначарский...

Нина криво улыбнулась дрожащими губами.

– Боюсь, и мне нечего сказать, товарищ Наганов. Вы, конечно, вправе мне не верить... но очень много людей может подтвердить, что этой зимой я находилась в Петрограде, в Новой Деревне, и была больна сыпным тифом. Умерли мой муж и сын, я и дочери выжили чудом. Никто из моих родных у нас не появлялся. Это тоже можно проверить. Я приехала сюда, потому что никто ничего не знал... и... Вы теперь... посадите меня в подвал?

Наганов коротко взглянул на нее своими светлыми глазами, и Нина заметила, как дернулся мускул на его щеке.

– Хорошего же вы мнения о нас, Антонина Яковлевна, – ровно произнес он.

– Но... я... – растерялась Нина. – Простите, я вовсе не хотела... Товарищ Наганов, я, поверьте...

– Вот ваш пропуск, гражданка Баулова. Можете идти. Но попрошу вас пока не уезжать из Москвы. Возможно, вы еще будете вызваны.

Нина, как автомат, взяла серый листочек бумаги, встала и направилась к двери. «Там дождь, гроза... – мелькнуло в голове. – Сейчас промокну вся... Боже, какие пустяки... Бегом, бегом отсюда!» Она схватилась за ручку двери, но та, как назло, не поворачивалась.

– Разрешите, – раздался прямо за спиной спокойный голос, и Нина, обернувшись, вздрогнула: из-за грома и шелеста дождя за окном она не услышала, что Наганов подошел к ней вплотную.

Среди цыган Нина всегда считалась высокой, но этот человек был выше ее на полторы головы. Испуганно подняв взгляд, она увидела прямо над собой его темное грубоватое лицо с перерезанной шрамом щекой, светлые глаза.

– Опять заклинило, давно поменять пора, – словно извиняясь, произнес он и одним мощным движением отворил дверь.

– Благодарю... – пробормотала Нина.

Голос Наганова остановил ее уже за порогом:

– Антонина Яковлевна, мы не могли с вами встречаться прежде?

Нина ожидала чего угодно – только не этого. От растерянности она забыла и о своем страхе, и о приличиях и, обернувшись, долго, в упор смотрела на Наганова. В конце концов тот отвернулся первым. Похоже, он был смущен.

– Просто мне показалось знакомым ваше лицо. Извините.

– Вы москвич... или петербуржец? – кое-как выдавила Нина. «Только этого не хватало, господи...»

– Это не имеет значения, – неожиданно резко ответил Наганов и, отвернувшись, быстрыми шагами прошел в глубь кабинета. – До свидания, гражданка Баулова. Помните, что уезжать из Москвы вам не разрешено.

– Я... я помню... Разумеется... До свидания. – Нина вылетела из кабинета, и в тот же миг снова яростно грохнуло за окном.

Она не помнила, как сбегала по крутой темной лестнице, как чудом не сбила с ног двух встречных солдат, как сдала пропуск красноармейцу у входа. Сразу за порогом на нее, оглушив ударом грома и ослепив белой, ветвистой молнией, обрушилась гроза. Платье и шарф мгновенно промокли до нитки. Нина бросилась бежать вниз по пустой, покрытой пузырящимися лужами Лубянке – и остановилась, наступившая вдруг страшно знакомым голосом:

– Ци-и-инка-а!

Не веря своим ушам, не понимая, кто мог здесь и сейчас позвать ее этим детским полузабытым именем, Нина обернулась. С угла Варварки по залитому лужами тротуару к ней бежала женщина. Сквозь серебристо-серую стену дождя постепенно проявлялись линялая таборная кофта и пестрая рваная юбка, сбившийся на затылок платок, седые мокрые волосы, прилипшие к щекам, смуглое некрасивое лицо, черные, чуть раскосые глаза, большой нос...

– Дэвлалэ...<sup>1</sup> – прошептала Нина. И кинулась навстречу. – Тетя Варя! Тетя Варя! Откуда ты, откуда?! Здесь... Как же так? Наши не в Крыму разве?! Почему ты приехала? Спаси бог, все живы?!

– В Крыму! Все в Крыму! – говорила тетка Варя, задыхаясь и сжимая мокрыми холодными ладонями лицо Нины, и та чувствовала каждую трещинку, каждую шершавинку заскорузлых рук кочевой цыганки. – И ты, и ты, девочка моя ненаглядная, Циночка моя брильянтовая, слава богу, цела! Так это правда или нет – то, что мне рассказали?!

– Кто?

– Да эти ваши цыгане на Живодерке! Приезжаю – а там вой, рев стоит! Нинку солдаты забрали, хасиям<sup>2</sup>, пропали наши головы! Какую, спрашиваю, Нинку, дуры, говорите толком? Да вашу, кричат, питерскую, Нинку Молдаванскую! Как приехала – сейчас и забрали, пришли и забрали, двух слов с родней сказать не дали, ворвались с ружьями и увели, христопродавцы! Насилу допыталась, что к чему, – и сейчас кинулась!

– Куда – в ЧК?! – поразилась Нина. – Тетя Варя, бог с тобой, да что бы ты сделала?

– Как что? Как что?! Ух, я бы им! Ух, они бы у меня!.. Да я бы такой крик, такой вой подняла б, что этим гаджам небо бы в овчинку стало! Стены во всей этой Чеке зашатались бы! Впервой, что ли?!

– Они бы просто застрелили тебя, и все, – глухо произнесла Нина, сжимая холодную руку старой цыганки. – Хороши наши, что отпустили тебя, нечего сказать...

– Да они кричали, чтоб не вздумала, только я их, сопляков, слушать буду, что ли? – Тетя Варя взволнованно заглядывала в ее лицо. – Да как же ты выбралась? Тебя навовсе отпустили?

– Не знаю.

– А почему забрали?

---

<sup>1</sup> Боже мой... (цыганск.)

<sup>2</sup> Пропали мы (цыганск.).

– Из-за наших... Из-за отца. Говорят, что он убил кого-то зимой... Ведь это же неправда, тетя Варя? – вдруг жалобно спросила Нина. – Неправда, верно? Я же ничего, совсем ничего не знаю! В тифу ползими провалялась, в больничку свекровь отдала... И Ромка, и Васенька заболели... У-мер-ли... – Голос Нины вдруг прервался, и она, захлебнувшись гортанным рыданием, тяжело осела прямо на мокрый тротуар. Тетя Варя привычно, не задумавшись ни на миг, не заметив, как пестрым пузырем раскинулась по луже ее юбка, опустилась рядом.

– Бедная моя... Девочка моя бедная...

– Умер Ромка, понимаешь... И Васенька... – давясь слезами, бормотала Нина. – Девчонки еле выжили, прозрачными мне их отдали... Куда я теперь с ними денусь? Вот, приехала, думала – к маме, к отцу, к братьям... И – никого... Дом пустой, окна выбиты... Сразу же – солдаты, Наганов этот, будь он проклят, со своими вопросами... А я ничего даже не знаю...

– Девочка моя бедная... Теперь – все... Ты же к своим, домой приехала... – Худые руки старой цыганки обнимали ее. – Теперь все хорошо будет, я все знаю, про все тебе расскажу... Подымайся, застудишься еще! Не стручок же таборный вроде меня, а целая Нина Молдавская, слава богу!

– Что ты... О чем ты... Где теперь это все, кому нужно... – горько улыбаясь сквозь бегущие по лицу слезы, говорила Нина. – Все ушло, сгорело... И никого нет...

– Подымайся, – уже строго повторила тетя Варя, вставая.

Нина молча уцепилась за костлявое плечо старой цыганки и, шатаясь как пьяная, пошла за ней вниз по Лубянке. Ни она, ни тетя Варя не заметили, что из окна второго этажа за ними пристально наблюдает следователь ЧК Максим Егорович Наганов.

Дороги на Живодерку Нина почти не помнила и даже не смогла понять, когда, в какой миг прекратился дождь, а стук капель сменился взрывом испуганных и радостных голосов: они пришли домой. Сразу сбежались цыгане, несколько пар рук подхватили ее, повлекли в тепло, принялись раздевать, растирать, утешать, жалеть... Сквозь голоса пробивались треск дров в печурке, звон ложечки в стакане с чаем, хлопки – кто-то торопливо взбивал подушку...

– Где мои девки? С кем они? – из последних сил спрашивала Нина.

– Не беспокойся, у Трофимовых сидят, чай с сахаром дуют! А ты ложись! Голодная?

– Что спрашиваешь, дура? Кто нынче не голодный?! А она с поезда, не пимши, не емши! И в Чеке, поди, штей с мясом не налили!

– Штей! Бога моли, что живая выдралась! Слышишь, Нинка, счастливой родилась!

– Что мелешь, безголовая?! У девки муж и сын померли, да отец, да сама еле жива осталась, а эта...

– Что отец? Что отец?! – вскинулась Нина, рывком сбрасывая с себя одеяло и садясь на кровати. Перед глазами тут же поплыли огненные круги, она зажмурилась, неловко вцепилась руками в одеяло и сквозь зубы переспросила: – Тетя Варя, что с отцом? Что с другими нашими?

– Ниночка, полежала бы сперва, отдохнула... – взмолилась тетя Варя, яростно сверкая глазами на попятившихся от кровати цыганок, но Нина отчаянно замотала головой.

– Говори сейчас, не то помру!!! Думаешь, смогу лежать?! Думаешь, засну?! Ради бога, бибинько<sup>3</sup>, жив отец?! Не мучай меня!

Тетя Варя тяжело вздохнула, опустила голову. Нина молча закрыла лицо руками. Цыганки, переглянувшись, одна за другой начали потихоньку выходить из комнаты. Последняя, нагнувшись, поворошила кочергой головешки в «буржуйке», взметнувшееся пламя запрыгало на деках двух гитар, висящих на бревенчатой стене, отразилось в пыльном оконце, за которым метались мокрые кусты сирени, вспышкой осветило большой портрет молодой цыганки в белом платье, с косами, переброшенными на грудь.

<sup>3</sup> Тетушка (цыганск.).

– Почему бабушкин портрет здесь? – не отнимая рук от лица, невнятно спросила Нина. – Он же внизу, в гостиной, висел, над роялем... Зачем сняли, кто позволил перенести?

– Ай, где та рояль, где та гостиная... – безнадежно махнула рукой тетя Варя. – Вот что, девочка... Сиди, пей чай да слушай.

Дом деда Нины, дирижера знаменитого хора, был когда-то самым большим на цыганской улице Живодерке. Сын дирижера Яков женился на таборной цыганке, несколько лет прожил с ней в Крыму. Там, на берегу теплого моря, родилась курчавая, глазастая, смуглая девочка, которую крестили Антониной, но местные цыгане называли ее Цинкой. Это цыганское прозвище удивительно подходило голенастой, взъерошенной, черной от загара девчонке с блестящими, как у зверька, глазами и пронзительным голосом, который, когда она загоняла по вечерам домой младших братьев, слышен был от берега моря до дальних степных лиманов. Братьев у Цинки было четверо, и все они родились в Крыму. Девочке шел шестой год, когда ее семья вернулась в Москву. Младшая сестра Дина родилась уже на Живодерке.

По примеру многих хоровых цыган Яков отдал сыновей в реальное училище. Учить дочь он не собирался, но Цинка попросилась сама. Яков сначала был против, но, выслушав жену, пожал плечами и согласился: «Хорошо, если хоть год отучится, а там и сама сбежит».

Отучилась Цинка, к изумлению цыган, целых пять лет: ни одна из девчонок с Живодерки до нее не получала такого внушительного образования. В гимназии ее называли Ниной, и это имя прилипло к ней еще крепче, чем детское прозвище, оставшись с нею навсегда. Обладая живой и цепкой памятью, Нина училась с искренним интересом, без труда запоминала стихи, ей легко давались иностранные языки, а на приготовление уроков никогда не уходило больше часа. При этом с двенадцати лет девочка сидела по вечерам в хоре отца. У нее было чистое, звонкое сопрано, взлетающее над всеми голосами в заоблачные выси верхних партий, и в хоре Нину ласково звали «наш звоночек».

Красавицей Нина себя никогда не считала: вся красота, по ее мнению, досталась младшей сестренке Дине, строгой сероглазой смуглянке. Нина, впрочем, ничуть не переживала из-за этого, чувствуя, что ее темная смуглота, длинные, «татарские», как у всех Дмитриевых, глаза, широкие брови вразлет, сухие, немного резкие черты нравятся гостям ресторана ничуть не меньше – и не ошибалась.

Девушке было шестнадцать лет, когда на одной из многолюдных цыганских свадеб ее увидел Ромка Баулов из известной в Петербурге хоровой семьи. Неделю спустя в доме отца Нины уже сидели сваты. Яков колебался: партия представлялась весьма достойной, но дочь, на его взгляд, была еще слишком молода для замужества. Потихоньку от гостей он послал к отсидивающейся наверху Нине жену. Дарья вернулась быстро, едва пряча улыбку, незаметно кивнула мужу – и через полчаса Яков уже на весь дом звал дочь подавать вино будущей родне.

Жених в самом деле понравился Нине. Ромка был высоким, широкоплечим, глазастым, хорошо играл на гитаре и, несмотря на неполные восемнадцать лет, уже пел в хоре «Виллы Родэ» первые партии. Кроме того, Нине льстило, что ее сосватали в такую богатую и известную семью, и она уже видела себя примадонной петербургского хора, выступающей с романсами для августейшего семейства: последней чести оказалась удостоена Ромкина мать, красавица Марья Баулова, знаменитая Маша Лунная.

Маше Лунной к тому времени не исполнилось еще и сорока; в ее иссиня-черных густых волосах, уложенных в высокую прическу, не было ни одной седой нити. Она носила строгие, в талию, платья, великолепно подчеркивавшие ее точеную фигуру, бриллианты, подаренные именитыми поклонниками, и пела жестокие романсы так, что газеты в своих рецензиях захлебывались от восторга. Свекровь внушала Нине почтение, трепет и непоколебимую уверенность в том, что ей никогда не будет позволено исполнять в хоре «слезные» романсы из репертуара Лунной. И действительно, в первый же день, когда юная супруга готовилась выйти с мужем

в ресторан, Маша Лунная сухо сказала ей: «Мы с тобой, милая, прямо сейчас уговоримся: моих романсов ты не трожь, все равно не понимаешь в них ничего, – а песенки под пляску все твои».

Так и случилось. Все годы своего замужества Нина исполняла в хоре «Ваньку-Таньку», «Обманула-провела» и «Пудрится-румянится», не решаясь даже в кругу цыган, даже шутки ради напеть репертуар Маши Лунной. Но, несмотря на это, неприязнь свекрови молодая женщина чувствовала всей кожей. Они не ссорились в открытую: Маша Лунная, считавшая себя «благородной», не опускалась до скандалов с невесткой и никогда не повышала на нее голоса. Последнее, впрочем, делать оказалось нетрудно, поскольку все разговоры примадонны с женой сына можно было легко пересчитать по пальцам.

– Ты не переживай, мать ревнует просто, – как-то попытался успокоить Нину муж. – То она одна первой солисткой была, а теперь почти весь зал на тебя приезжает.

– Ну, что врешь-то – весь зал... – уныло отмахнулась Нина. – Ползала – и то хорошо. И мне ее низов никогда не взять, хоть лопни!

– А ей – твоих верхов! – рассмеялся Ромка. – Ничего, скоро внуков ей нарожаешь – авось и отойдет.

Надежды Ромки не сбылись: ни крикун Васька, ни задиристая, боевая Светланка, ни маленькая нежная Машенька не смягчили свекровь: жены сына она по-прежнему не замечала, хотя с внуками возилась охотно. Нина, впрочем, не особенно огорчалась: они с мужем и детьми уже жили отдельно, Петербург знал ее как Нину Молдаванскую, и каждый вечер ее ждали в ресторане собственные поклонники, цветы, восторги и слава. Открытые скандалы со свекровью у Нины пошли только с началом войны: Нина тогда много пела для отъезжавших на фронт и несколько раз, после страстных просьб солдат и офицеров, все же решилась исполнить несколько романсов, после чего ей долго аплодировали. После первого такого случая Маша Лунная устроила невестке настоящую сцену с оглушительными воплями и битьем посуды, но молодая женщина твердо ответила: «Я не своей волей это пела! Люди на фронт ехали, просили – что я там, ломаться буду?! Или на весь вокзал кричать, что мне свекровь рот открывать запрещает?! Все наши слышали, как меня упрашивали! А еще раз попросят – снова спою!»

После этого между Ниной Молдаванской и Машей Лунной больше не было сказано ни одного слова.

Все пошло прахом три года назад, когда Россия затряслась от революций и войн. Цыгане стали никому не нужны, знаменитые хоры Новой Деревни распались, наступил голод. Часть артистов уехала на юг, в Крым и Одессу, вслед за «господами». Оставшиеся пошли на поклон к новой власти и вскоре уже с успехом устраивали концерты в рабочих и солдатских клубах: Москва и Петербург, несмотря ни на какие катаклизмы, по-прежнему обожали своих цыган. За эти голодные, беспокойные годы Нина распродала все драгоценности и вынуждена была давать уроки в школе для детей рабочих на Мойке: пять классов гимназии, оконченные до замужества под недовольное бурчание цыганской родни, сейчас оказались очень кстати. Ромка против жениного образования никогда не возражал и на цыганские подначки огрызался без злости: «Хорошую бабу и книжками не испортишь». Сам он в свое время кое-как окончил три класса реального училища и с облегчением сбежал оттуда в отцовский хор. С книгами Ромка не дружил, читать не любил, но ему нравилось слушать, как читает вслух жена. Умирая от тифа ледяной, метельной зимой девятнадцатого года на госпитальной койке, он в полубреду просил сидящую рядом Нину: «Нинка, почитай... почитай, лачинько...<sup>4</sup> Про Татьяну снова почитай...» И Нина, давась рыданием, открывала разбухшую книгу и, не видя строчек за пеленой слез, наизусть читала «Евгения Онегина».

Ромка умер после Рождества. Сразу за ним ушел семилетний сын, потом свалились девчонки. Нина, заразившись от них, провалялась в тифозном бараке до весны, чудом выжила,

---

<sup>4</sup> Милая (цыганск.).

вернулась в Новую Деревню худая, бледная, похожая на изголодавшегося подростка: косы ей отрезали в больнице. Дом Маши Лунной стоял пустой: цыгане рассказали, что сразу же после смерти сына и внука свекровь уложила чемоданы и уехала в Крым. Было ясно, что судьба невестки и внуков ее не волновала. Девочек Нины из больницы забрала к себе Наташа, Ромкина сестра, и когда мать увидела их – бледных испуганных худышек с огромными глазами и обритыми головами, – у нее началась первая в ее жизни истерика. Которую, впрочем, довольно быстро прекратила Наташка, попросту вылив на заливающуюся слезами невестку полведра воды: «Хватит выть, дура! Бога моли, что выжила, и красавиц твоих выходили! Другие-то целыми семьями вымирают! Тебе сейчас думать, как девок кормить, а ты вон их своими воплями перепугала до смерти!»

До конца апреля Нина с дочерьми прожила у Наташки, дожидаясь, пока отрастут волосы. Когда же те начали стоять вокруг головы пушистой курчавой шапкой, она решила ехать в Москву, к своим. В маленьком чемодане лежали вещи девочек, Машенькин плюшевый медведь, два чудом уцелевших вечерних платья, несколько книг, золотая брошь с бриллиантами в виде букета георгинов, на которую можно было при необходимости выменять хлеба, и – на всякий случай, чтоб не приняли за буржуйку, – вырезанная из газеты фотография вождя мирового пролетариата. Запирая пустой дом, Нина знала наверняка, что никогда больше не вернется в этот ледяной, продуваемый всеми ветрами, изрезанный стылыми каналами серо-черный город, в котором умерли муж и сын. Прожив в Петербурге восемь лет, Нина так и не почувствовала величественной и строгой красоты Северной столицы, она не стала ей родной. Сердце рвалось домой: в безалаберную пеструю Москву, на кривую, узенькую, звенящую от цыганских голосов Живодерку, в голубой дом отца, к маме, братьям, к младшей сестренке...

Дорога была ужасной: переполненный поезд, забитый мешочниками, красноармейцами, бабами с детьми и галдящими оборванцами всех мастей, едва тащился по рельсам, подолгу задерживаясь на каждом полустанке. То и дело по вагонам, грохоча сапогами и прикладами, проходили солдаты с красными повязками на рукавах, бесконечно проверяли документы, распаковывали багаж, мяли в руках платья, бесцеремонно извлеченные из-под газеты с Лениным; разумеется, нашли и отобрали брошь... К концу своего путешествия Нина была еле жива и в который раз прокляла все революции на свете. Когда ее, шатающуюся от голода и усталости, из последних сил удерживающую за руки дочерей, вынесла на перрон галдящая толпа, выяснилось, что на Москву идет гроза и горизонт обложен черно-синей дымкой.

Живодерка в предвечерний, тронутый закатом час показалась Нине пустынной и странно безмолвной, хотя прежде более шумным местом в Москве считался разве что Сухаревский рынок. Низкие почернелые домики утопали в пене цветущей сирени, ее сладковатый, усилившийся перед дождем запах заполнял все вокруг. Выбравшись вместе с девочками из извозчичьей пролетки, Нина огляделась, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, но Живодерка словно вымерла: только стайка детей, игравшая на перекрестке в лапту, прыгала и галдела звонкими голосами.

Старый дом родителей не изменился: он был таким же покосившимся, с облезшим мезонином, голубая краска со стен совсем облупилась, в маленьком палисаднике буйствовала сирень. Но ставни, несмотря на душный вечер, были наглухо закрыты. Нина подошла к калитке – та оказалась заперта. Женщина в растерянности осмотрелась – и вдруг заметила наблюдавшую за ней с другой стороны улицы русскую тетку в обтрепанной шали. Поймав взгляд Нины, та быстрым, каким-то подпрыгивающим шагом направилась прямо к ней. На тетке было дорогое, зеленого бархата, но очень грязное платье, подол которого оказался оторван и волочился по пыли неряшливым лоскутом. Желтоватые неопрятные волосы кое-как прикрывал черный платок. Блеклые голубоватые глаза из-под морщинистых век посмотрели на Нину с такой ненавистью, что она невольно замедлила шаг и притянула к себе дочерей. В тот же миг тетка взмахнула руками и завизжала на всю Живодерку:

– Прие-е-ехала-а?! Яви-илась не запылилась, буржуйка проклятая?! Не зарезали тебя еще, контру этакую, лахудру?! А-а, ревсовета на вас нет, всех вас в подвалах порешат, всех до единого! Вся улица пуста будет, цыганье проклятое!

Нина сразу же поняла, что перед ней обычная сумасшедшая, которых сейчас много повсюду, и лучше не обращать внимания на ее крики, а как можно спокойнее продолжать путь. Но перепугавшиеся девочки, прижавшись к коленям матери и уже начав всхлипывать, не давали ей сделать ни шагу. К счастью, в это время хлопнула дверь соседнего дома, и на улицу посыпались цыгане, тут же завопившие на разные голоса и решительно оттеснившие от растерянной Нины сумасшедшую.

– Нинка! Умереть мне, чаялэ, смотрите – это же Нинка!

– Наша Нинка! Ей-богу же! Ми-и-илая, да откуда ты взялась-то?

– А нам-то, нам чего только не рассказывали! Это верно, что Ромка помер?

– Правда? И детишки? Сын только? Ай, хасиям, горе-то какое, бедная ты наша, бедная... А свекруха небось жива-здоровехонька! Вот так, ромнялэ, завсегда и бывает!

– А слыхала, что здесь-то случилось? Что с твоими-то – слышала? Ни одного человека теперь в Большом доме! Вот ведь несчастье приключилось, и что только не рассказывают!

– Тю, дура, зачем ты ее пугаешь?! Посмотри, она же белая вся стоит! Ниночка, милая, идем в дом, мы тебе там все...

– А у нас-то, слышала? От тифа у Трофимовых трое умерли, да Танькин младенец тоже – едва окрестить успели... И тетка Сима померла – у ней нутро воблиного супа уж не приняло...

– А Конаковы все как есть в Крым еще год назад съехали! Вон – дом забитый стоит! И бабушку свою с собой увезли, на нее-то все золото и навертели, какое цело осталось! От бабки дух идет такой, что, поди, и в поездах не обыскивали, брезговали!

– И Хрустальные тоже в Крыму все! Туда сейчас много наших съехало! Ты-то, дура, за каким счастьем сюда понеслась? Или слыхала чего? Может, в Москве опять хоры разрешат? Конный-то рынок пуст стоит, мужикам заняться нечем...

– Да дайте вы ей вздохнуть, дуры пустоголовые!!! Она ведь с дороги! Нинка, не слушай этих сорок, идем к нам, у нас сало есть, вобла, сейчас и чайку согреем...

Нина и слова вставить не могла в этот неумолчный гам и, по опыту зная, что прекратить поток цыганских вопросов, аханья и восклицаний не под силу ни одной земной силе, стояла молча, прислонившись спиной к щелястому забору.

– Пропустите! Гражданки, пропустите! Разойдитесь! – послышались вдруг повелительные окрики, и цыганки разом смолкли как одна. Сквозь их толпу быстро прошли два человека в военной форме.

– Вы – дочь Дмитриева Якова Дмитриевича?

– Я...

– Пройдемте, вы арестованы.

– ...Тетя Варя, я только понять не могу – откуда они дознались? – медленно спросила Нина, откидываясь на разбухшую подушку и закрывая глаза. – Как они узнали, что я приехала? Ведь я пяти минут с нашими не проговорила – а уже за мной пришли! Караул они, что ли, возле Большого дома держали?

– Какой караул, милая моя... – отмахнулась тетя Варя. – Ты гаджуху<sup>5</sup> сумасшедшую видала перед домом?

– Да, видала какую-то... Показалось даже, что я ее знаю...

---

<sup>5</sup> От «гаджи» – нецыганка.

– Еще бы не знать! Это же Шукина, Шукина Прасковья Никаноровна, соседка ваша! Ну, у них еще дом доходный был сразу за Конаковыми... Так ведь это же ее сына-комиссара в вашем доме застрелили! Она оттого и умом тронулась! Сейчас-то еще поспокойнее стала, а то ж ведь наши цыгане из-за нее всю зиму на улицу выходить боялись! Кидалась на них прямо как тигра, в волосы цыганкам вцеплялась, и не отдерешь! Буржуйки, кричит, к стенке вас всех надо, в расход! Она, змеища, и донесла! Поди, на Садовую сбежала да солдат нашла! Много ли сейчас надо, чтобы человека уходить?

– Тетя Варя, ради бога! – взмолилась Нина. – Я не понимаю ничего! Ты, верно, путаешь, у Шукиной сын студент был, Алеша! Я его как раз помню хорошо, мы с ним ровесники... Да он же, кажется, за Динкой нашей ухаживал, когда она еще девчонкой была, а потом...

– То-то и оно, что «потом»... – зло фыркнула тетя Варя. – Динка наша, умница, этого Алешу и в грош не ставила, а он-то через эту ривальюцию комиссаром заделался! И такой весь авантажный в пулеметах ходил, что просто умереть мне и не подняться!

– Так это Динка, что ли, его застрелила?! Или отец?! Мне в ЧК сказали, что отец каких-то шпионов прятал, я чуть в обморок не упала!

– Ты не перебивай, слушай! Шпиенов не шпиенов, а кто-то из господ у него отсиживался, верно... какой-то знакомец давний, не знаю. За этим барином солдаты и пришли, и комиссар Алешка с ними... Барин, не будь дурак, сразу и застрелился, чтоб мучений в Чеке не дожидаться... а цыгане-то остались! Полон дом! И наши, и таборная родня, которая, как на грех, в гости табуном свалилась! Солдаты разом всех и заарестовали!

– Но... Но кто же тогда их убил?! – У Нины ум заходил за разум, глаза были горячими от подступивших слез.

– Кто-кто... – проворчала тетя Варя, яростно крестясь на темную икону в углу. – Митька ваш, Мардо... Твоего деда Ильи сын.

– Ка-а-ак?!.

– Мне так цыгане рассказывали. Я сама не видала. Говорили – из ливольверта взял и всех разом хлопнул. А комиссар этот, Алешка, будь он богом проклят, успел еще пулю в отца твоего пусти-и-ить... – На последних словах тетя Варя в открытую заплакала.

Нина, теряя силы, откинулась на подушку. Сквозь стреляющую боль в висках пробивалась лишь одна ясная мысль: всего этого просто не могло быть.

– Ой, что тут поначалось после того!.. – Тетя Варя схватилась за голову. – Наши-то все уехали! Разом подхватились и умчались в табор, весь дом в один минут сдуло, и Яшку-покойника с собой уволокли, одни гаджэ<sup>6</sup> на полу остались! Ну, а на другой день пол-Живодерки в Чеку перетаскали! Правда, к вечеру и выпустили: места, поди, для всех не хватило, а стрелять особо не за что было. Все наши дураки как один ревут, крестятся и божатся, что знать ничего не знали! И ведь не врал в кои-то веки, всамделе никто ничего понять не мог! Все только пальбу ночью слышали, а кто, в кого, за что... И всех до одного про Митьку вашего спрашивали – мол, тоже с солдатами приходил, а где он?! Будто этот бандит кому из нас когда докладывался!

– Да, и меня тоже про него спросили... – Нина зажмурилась, мучительно вспоминая. – Но почему Митька с гаджами пришел?! Что он с ними мог делать?!

– Говорят, в Чеке служил.

– Кто? Митька?! В ЧК?! Да он же вор! И всю жизнь вором был, дед с ним ничего поделывать не мог! Он и в таборе не жил совсем, только жену там держал, а сам – то по тюрьмам, то по городам...

Нина наконец вспомнила Митьку Мардо. Он был приемным сыном ее таборного деда и среди цыган в самом деле появлялся редко. Нина с трудом смогла вызвать в памяти некраси-

---

<sup>6</sup> Нецыгане (цыганск.).

вое, испорченное шрамами лицо Митьки, его всегда сощуренные, наглые глаза, насмешливый, неприятный взгляд...

– Тетя Варя, но как же... Мардо – сволочь, все про это знали, но... но... с гаджами к своим прийти?! В людей стрелять?!

– Девочка, да кабы Митька этих солдат вместе с комиссаром не пострелял, они б всю твою родню в подвалах уложили, – тихо произнесла тетя Варя. – Время сейчас сама знаешь какое, за пустяк людей к богу отправляют, а тут – такое дело! Белый шпиен в доме прячется! Всех до единого заарестовали бы, а после и постреляли. Так что Митьку не ругай, без него еще хуже пришлось бы.

– Господи... – простонала Нина, хватаясь за голову. – Господи, господи, за что-о-о...

Тетя Варя молча посмотрела на нее. Встала, скрылась за дверью. Вернулась с большой кружкой и чайником, от которого шел душистый запах летнего луга.

– Давай-ка, девочка, чайку выпей. У меня и хлебушка есть немного, поешь.

– Откуда чай? – не открывая глаз, спросила Нина. – В Питере давно сухую морковку кипятком заваривают...

– Ну! Морковку я лучше в суп брошу для навару! По нынешним временам и за мясо сойдет. А это травы. Прошлым летом в кочевье собирала, а пахнут до сих пор, понюхай!

Тетя Варя подняла крышку над чайником, и сладковатый дух облачком поднялся к потолку. В чашку, булькая, полился темно-коричневый отвар. Старая цыганка порылась в складках фартука, добыла желтый, облепленный крошками и травяной трухой кусок сахара; старательно обдув, бросила его в чай, положила рядом увесистую горбушку, сухую тараньку и придвинула все это Нине.

– Садись, кушай. И станем думать, как тебе теперь быть. Твои-то все: и мать, и братья, и Динка – в таборе давно. Сейчас в Крым тронулись. Э, а Динка-то, знаешь, замуж вышла!

– Дина?! – всплеснула руками Нина. – Ой, да за кого?!

– За Сеньку, брата вашего двоюродного. Помнишь Сеньку? Который еще провоевать два года успел? Этой осенью к деду в табор вернулся! Живой, целый!

– Помню. – Нина пожала плечами. – Зачем Дине это понадобилось – за таборного? Да еще за двоюродного брата... И мама позволила?

– Да куда ж там было не позволить... – вздохнула тетя Варя и, словно спохватившись, торопливо проговорила: – Вот доедешь до них, они тебе сами все обскажут! Завтра вместе и тронемся, красавица моя!

– Я не могу, – невнятно, не выпуская из зубов горбушки, отозвалась Нина. – Я бумагу подписала, что не уеду из Москвы.

– Тю, милая! – фыркнула тетя Варя. – Да ты не цыганка, что ли? Мы тебя и твоих девок по-таборному обрядим, в вагон со мною сядете – и ищи ветра в поле! А то и пешком по дороге уйдем, к первым встречным цыганам прилипнем – и с ними!

– А здесь из-за меня всю Живодерку перестреляют, – всхлипнув, убежденно произнесла Нина. – Нет, я останусь. А ты поезжай, пожалуйста. Догони цыган, скажи матери и братьям, что я жива... и что, бог даст, свидимся. Как только мне разрешат, я за табором поеду.

Тетя Варя молчала. Ничего не говорила и Нина. Доев хлеб, она поставила опустевшую кружку на подоконник, вытянулась на постели. В комнате крепко и сладко пахло луговой травой, за окном шуршал дождь. Из соседней комнаты слышался приглушенный, тревожный разговор женщин. Кто-то заглянул в комнату и быстро спрятался.

– Кто теперь хороводом здесь? – не открывая глаз, спросила Нина.

– Какие теперь хороводы – оскорбление одно... – отмахнулась тетя Варя. – Отец твой, царство ему небесное, последним стоящим, поди, был... Мишку Скворечико впереди хора

поставили, он Яшке-покойнику кровный племянник, кое-как гитарой машет... Помнишь Мишку-то? Тоже недавно с войны вернулся, у красных воевал, баро мануш<sup>7</sup> – куда там!

– Помню. Пойду к нему завтра. Возьмет меня в хор?

– Пусть попробует не взять... – усмехнулась тетя Варя. – Нину Молдаванскую не взять – кого же тогда брать? Ты спи, девочка, спи... – Протянув руку, она потрогала лоб Нины, нахмурилась. – Ишь ты, горячая вся, как печка... Как есть выстудилась под дождем! Я пойду еще травки заварю, а ты – спать!

– А где же девки мои?... Привели их, уложили? – Глаза Нины слипались.

– Ну, схватилась! Поели и спят давно! Перенести их к тебе?

– Да, пожалуйста... Маша темноты боится...

– Не беспокойся, сейчас. А ты спи.

Среди ночи Нина проснулась от духоты и, открыв глаза, страшно испугалась: вокруг было темно хоть глаз выколи, и она не сразу смогла вспомнить, где находится. Но тут же поняла, что спит в Большом доме, в комнате младшей сестры, что дом вот-вот накроет новой грозой, а темно из-за обложившей сад тучи. Прямо над крышей глухо, тяжело заворчал. Блеснул бледный свет, очертивший квадрат окна и качнувшуюся на ветру занавеску, и в саду, нарастая, зашуршал дождь.

– Мама... – проснулась Машенька. – Я боюсь... Ты здесь? Где мой мишка?

– Здесь, маленькая, здесь! Вот он!

Нина подхватила с пола замызганного плюшевого медведя и босиком, на цыпочках бросилась через комнату. Погладила спутанные кудряшки малышки, мимоходом пощупав ее лоб. То же самое проделала со спящей мертвым сном Светланкой. Та, не открывая глаз, проворчала что-то, перевернулась на другой бок. Успокоилась и Машенька, притянув к себе медведя и обняв за шею старшую сестру. Нина вернулась в кровать, но вскоре поняла, что заснуть больше не сможет. Гроза подползала все ближе, гремело уже над самой крышей. Нина поднялась с постели, зажгла огарок свечи. Слабый огонек выхватил из темноты стену над кроватью, икону Богородицы с погасшей лампадой, несколько фотографий, приколотых к обоям. Подумав, Нина встала на кровать и огарком зажгла лампаду. Из темноты проявился измученный, осунувшийся лик Богородицы. Рядом висела большая фотография. С нее смотрели, улыбаясь, две девушки в гимназических формах, обе брюнетки, с одинаковыми гладкими прическами. Та, что слева, – светлоглазая, со строгими чертами, сдержанно улыбающаяся – была младшей сестренкой Нины, Диной. Вторая – с широкой ясной улыбкой, открывающей крупные зубы, горбоносый, чуть резковатым, красивым и гордым лицом – оказалась Нине незнакома. Внизу карточки тянулась чернильная вязь: «Надежда Дмитриева и Мери Дадешкелиани. Май, 1916 год».

Так вот, стало быть, какая она, эта княжна... Нина сразу же вспомнила письма сестренки, в которых та с восторгом рассказывала о своей новой подруге. Мери Дадешкелиани была дочерью грузинского князя и знаменитой когда-то на всю Москву певицы Анны Снежной. Анна Снежная выступала в цыганском хоре деда Нины, потом вышла замуж за князя Давида Дадешкелиани и уехала в Тифлис. Снова в Москве, на Живодерке, она появилась только спустя много лет, в голодном предреволюционном году, уже вдовой: муж погиб во время германской войны. Вместе с Анной Снежной приехала ее пятнадцатилетняя дочь Мери, которая сразу подружилась с молодежью Живодерки, через месяц уже свободно болтала, пела и плясала по-цыгански, а спустя полгода сидела в хоре вместе с другими плясуньями. Мать девушки не возражала: время наступило голодное, дочери нужно было чем-то зарабатывать на хлеб.

---

<sup>7</sup> Большой человек (цыганск.).

Сама Нина, жившая тогда в Петрограде, не видела маленькой княжны ни разу, но Дина, подружившаяся с «таланной раклешкой»<sup>8</sup>, постоянно восхищалась в своих письмах тем, как лихо, совсем по-цыгански, пляшет Мери в ресторане, как та собственноручно сшила себе костюм «как у кочевой котлярки»<sup>9</sup>, как много у нее появилось поклонников, как жаль, что она не поет романсы, ведь у нее великолепное, совсем цыганское контральто, а, вот ведь глупая, не хочет, боится... Нина прочитывала эти письма с интересом, зная, что младшая сестра весьма и весьма осторожна в выборе подруг. Оконченная с золотой медалью гимназия заметно отдала Дину от цыганских девчонок, которые были почти сплошь неграмотны, едва умели подписаться и видели в чтении книг лишь напрасную трату времени. Похоже, с маленькой грузинской княжной сестре находилось о чем разговаривать... Что же стало потом с этой Мери, задумалась Нина, вглядываясь в живое горбоносое лицо на фотографии. Должно быть, уехала... Может, сейчас в Крыму или уже за границей... Последнее письмо от сестренки Нина получила полгода назад, и та сообщала, что Мери с матерью собираются уезжать из Москвы. Вовремя уехали, подумала Нина, невольно передергивая плечами при воспоминании о сегодняшнем допросе. Если б это убийство комиссара случилось при них, княгиню и княжну Дадешкелиани забрали бы в ЧК первыми. Уж им-то, в отличие от живодерских цыган, не удалось бы прикинуться «дикими-неграмотными».

За окном внезапно грохнуло так, что содрогнулся весь старый дом. Неплотно прикрытое окно распахнулось настежь от порыва ветра, взметнувшаяся занавеска чуть не сбила со стола огарок. Нина едва успела подхватить свечу; та, накренившись и щедро полив пол воском, вспыхнула вдруг сильным пламенем... и Нина увидела торчащий за иконой узкий сверток. «Деньги!!! Мать прятала!» – мелькнула сумасшедшая мысль. Нина прыжком взвилась на кровать, выхватила из-за иконы бумажный сверток... и застонала от разочарования: это была всего лишь связка старых писем, тоненькая пачечка, покрытая серыми хлопьями пыли. Нина стряхнула пыль за окно, стараясь, чтобы дождь не намочил бумагу, поднесла письма к свету. Удивленно пожалала плечами, увидев незнакомый, твердый, явно мужской почерк. Сев на постель и поджав под себя ноги, она развязала блеклую голубую ленту, стягивающую письма, поднесла одно из них к свече.

«Дина, милая, девочка моя, жена моя, здравствуй...»

Вздвогнув, Нина опустила письмо. К горлу мгновенно подкатила волна ужаса, похолодели пальцы. С минуту она сидела неподвижно, стараясь унять вихрь, поднявшийся в голове. Когда ей это немного удалось, Нина снова поднесла письмо к свету, и ровные твердые строчки потекли перед глазами.

«Дина, милая, девочка моя, жена моя, здравствуй, целую твои бесконечно дорогие пальчики. Не знаю, получишь ли ты это письмо, надеяться теперь можно лишь на оказию, и то не всегда. О боях писать не стану, поскольку хвастаться нечем. До нас доходят страшные слухи о том, что творится в столицах... Здорова ли ты, девочка моя? Поверь, это самое главное для меня теперь. Если б я мог знать наверное, что ты здорова, не голодна, – я бы не боялся ничего... От тебя давно нет писем, и о том, как ты живешь сейчас, я могу только догадываться. Дина, милая, поверь, для меня дороже всего на свете твой покой и счастье, но я обязан написать: мы едва ли увидимся на этом свете. Здесь с каждым днем становится все хуже, первоначальные успехи уже оборачиваются другой стороной, даже солдаты начинают понимать, что дело наше безнадежно. Если мы не увидимся более, поверь: для меня во всей жизни не было ничего лучше встречи с тобой. Только это еще живет во мне, только твои глаза я помню... И ту ночную грозу, когда ты пришла ко мне, я не забуду даже после смерти. До сих пор не понимаю, почему

<sup>8</sup> От «ракли» – девушка-нецыганка.

<sup>9</sup> Котляры (кэлдэраря) – этнографическая группа румынских цыган, отличающаяся ярким и самобытным женским костюмом.

ты не захотела обвенчаться со мной... что плохого в этом увидели бы цыгане, твоя родня? Что, кроме серьезности моего отношения к тебе, кроме благодарности за любовь, капли которой я не стою? Так или иначе, но ты жена мне, и я люблю тебя. Верь в это так, как верю я, что бы ни случилось. Прости за то, что плохо пишу тебе письма, мне это никогда не давалось. Будь моя воля, я бы только исписывал листы словами: «я люблю тебя»... Из последних сил надеюсь, что Господь сотворит чудо и мы еще увидимся. В минуты самого страшного отчаяния я всегда вспоминаю стихи, которые ты читала мне: «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса». Вспомнишь эти строчки, вспомнишь твое лицо, твои глаза... и делается легче, и не нужно никакой молитвы. В Бога я не могу больше верить, и если б ты видела, что творится здесь сейчас, то согласилась бы со мной. Стало быть, после смерти – пустота. Нет Бога, нетрая. России тоже больше нет. Только твои глаза, девочка моя, я буду помнить до последнего своего часа, до последнего мига. Прости меня и поверь: ты мое единственное счастье в этой жизни. Остаюсь твой муж, князь Зураб Дадешкелиани. Кубань, станица Ахларская, сентябрь 1919 года».

Словно в полусне, Нина прочла одно за другим все письма: их было шесть. Все они оказались адресованы ее младшей сестре, все написаны одним и тем же почерком и подписаны князем Дадешкелиани. Самой последней в связке лежала фотография: снимок молодого человека в форме поручика кавалерийских войск. Вглядевшись в его лицо, Нина подняла глаза на фотографию на стене. Мери Дадешкелиани... Зураб Дадешкелиани... Одинаковые твердые, резковатые, открытые лица, черные глаза, густые брови... Кто был этот Зураб? Брат маленькой княжны? Зажмурившись, Нина вспомнила, что сестренка, кажется, в самом деле писала ей, что к княгине и княжне приехал в отпуск из действующей армии кузен Мери, кавалерийский поручик. Но Дина упомянула о нем мельком, тут же вернувшись в письме к каким-то цыганским делам, и Нина не придала этому никакого значения.

«Наверное, тогда еще ничего у них не было...» – подумала она. И тут же сообразила, что во время войны длинных отпусков не давали. Самое большое через месяц Зураб Дадешкелиани должен был вернуться в действующую армию. Как же Дина умудрилась за месяц стать невенчанной женой этого чужого человека? Как могла пойти на такое, забыть о семье, о родителях, о собственной чести?

– Диночка, Диночка, Диночка... – бормотала Нина, прижимая к груди письма и не сводя почему-то глаз с лица поручика Дадешкелиани на карточке. – Как же ты могла... Девочка, пхэноринько<sup>10</sup>, как же ты могла... как решилась... не побоялась... Ты ведь цыганка, как же так, зачем?.. Куда ж мама с отцом смотрели... Что с тобой теперь будет, господи?!

И тут же новая страшная мысль пронзила ее: Нина поняла, что родители так ничего и не узнали. Не узнали – потому, что этой весной Дина вышла замуж в таборе. Мать никогда не просватала бы Дину, зная, что она уже была с мужчиной, не допустила бы несмываемого позора для всего рода... Но Дина... **ВЫШЛА ЗАМУЖ В ТАБОРЕ!** Вышла за таборного парня! Вышла этой весной!!!

– Дэвлалэ... – пробормотала Нина, чувствуя, что от страха у нее вот-вот остановится сердце. – Дэвлалэ, господи милосердный, да что же это такое? Что же это такое, ма-моч-ки?!

– Девочка, ты что, с ума сошла?! – сонно спросила тетя Варя, открыв глаза и шурясь на склонившееся над ней, неровно освещенное свечой лицо Нины. – Утро уже? Чего ты меня трясешь?

– Еще ночь... Проснись, бибинык, пожалуйста... Пойдем со мной...

---

<sup>10</sup> Сестренка (цыганск.).

– Да что ты?.. Что случилось-то? Бог ты мой, гроыхает как... Боишься, что ль, грому-то? Цыганка еще, тоже мне... – Серdito бурча, тетя Варя поднялась с расстеленной прямо на полу кухни перины и побрела вслед за Ниной к лестнице наверх.

– Бибинько, расскажи мне, – сев на развороченную кровать в комнате сестры и едва дождавшись, пока тетя Варя сядет рядом, потребовала Нина. – Расскажи, как наша Дина замуж выходила.

Тетя Варя внимательно посмотрела на нее. И Нина заметила, что в больших, черных глазах старухи уже не было ни капли сна. Только серьезность и странная тревога.

– Как она замуж выходила? – не дождавшись ответа, повторила Нина. – Со сватами? Со сговором? Мать свадьбу делала, гости съезжались? Рубашку... выносили? Все как положено было? Отвечай, не мучай меня!

В ответ – тишина, прерываемая только гулким рокотом катающегося, казалось, прямо над крышей грома и шелестом капель, падающих с залитого дождем подоконника прямо на паркет. Нина упрямо, не отводя глаз, смотрела в лицо старой цыганки. Та наконец чуть слышно вздохнула и решительно произнесла:

– Да уж не было как положено. Не знаю, девочка, откуда ты дозналась, но...

– «Розы»<sup>11</sup> не было?! – в отчаянии, едва удерживаясь, чтобы не закрыть лицо руками, спросила Нина. – Не было?.. Да?..

Тетка Варя нахмурилась. Взгляд ее стал удивленным.

– Отчего ж не было? Ты что – с ума сошла, про свою сестру такое думать?! Как это не было?! Да разве б я тебе тогда сказала, что Дина замуж вышла?!

Нина схватилась за голову. В который раз за сегодняшнюю ночь ей показалось, что она вот-вот лишится рассудка.

– Но... как же... А... А что же не как положено-то было?!

– Тут, девочка, дело такое... – Тетя Варя отвернулась. – Сенька-то ее силой взял. Не по согласию.

– Ка-а-ак?!

– Вот так. Наши на другой день просто глазам своим не верили. Ночью оба пропали – и Сенька, и Дина. Наутро вдвоем явились, Динка вся избитая, растрепанная, зареванная... но рубашку с «розочкой» в руках, как флаг, держит! Сенька с ней. Перед всеми сказал: так уж, ромалэ, вышло, Динка мне жена теперь. Ой, что началось!.. Мать ваша ему чуть глаза не выцарапала! Дед едва не проклял!

– Отчего ж... не проклял? – одними губами спросила Нина.

– Не знаю. Оттого, наверное, что внук все-таки. И Динка – внучка... Они ж двоюродные, Сенька-то с Динкой...

– И «роза» была?! – забывшись, переспросила Нина.

Тетя Варя, рассердившись, взмахнула руками.

– Да говорят тебе, дура, что была! Вот такая, чуть не с колесо! Во всю рубашку! Бабы ее чуть не обнюхивали! Настоящая, ни одна не засумлевалась! Честной твою сестру взяли, хоть и не по-хорошему! А... ты отчего спрашиваешь?

– Ничего... Я – ничего! – спохватилась Нина. – Вот право слово, просто так...

– Ага. И разбудила меня посреди ночи с бешеными глазами тоже просто так, – спокойно заметила тетя Варя. – Что ты знаешь, девочка?

– Ничего... Да что ты, бибинько, что я знать могу... Я же в Питере пропадала... – забормотала Нина, хорошо понимая, как глупо звучат ее слова. – Я клянусь, просто так...

---

<sup>11</sup> Доказательство девственности невесты на свадебной рубашке или простыне.

– Ну, просто так – значит, просто так. – Тетя Варя смотрела через Нинино плечо в черное окно. – Только я тебе еще вот что скажу. То, что Динка – честная, весь табор знает. Про нее никто слова худого не скажет. Другое говорят.

– Что же?

– Говорят, не Сенькино дело было, вот что. – И, предупреждая испуганный вопрос Нины, тетя Варя взмахнула рукой. – И не спрашивай меня, ради бога, ни о чем! Сама ничего не знаю! И дед ваш не знает! И бабка! И мать ваша! Молчит Динка, молчит Сенька! Молчат, проклятые! Живут вместе – и молчат! А Дарья мне еще говорила, что...

Тетка Варя запнулась на полуслове, закусив губы. Нина в упор смотрела на нее, но старуха-цыганка молчала. Нина закрыла лицо руками. Глухо попросила:

– Тетя Варя, ради бога, расскажи. Детьми своими клянусь – от меня никто слова не услышит. Дина же мне сестра, я умру, а ей плохого не сделаю. Но мне, мне самой надо знать, не то я с ума сойду. Скажи, что мама тебе говорила?

Некоторое время тетя Варя, похоже, колебалась. Затем, перекрестившись на Богородицу в углу, медленно, словно через силу, выговорила:

– Дарья мне сказала, что Сенька к Дине как к жене не вошел ни разу. Спят врозь. Как брат с сестрой. Покрывал он ее, вот что. Грех чужой покрывал.

– Кто... боже мой, кто про это знает?... – пролепетала чуть живая Нина.

Тетя Варя посмотрела на нее с досадой:

– Да ты что, девочка, с перепугу совсем ума лишилась? Никто не знает! Я с тебя и слово потому взяла!

– Но... но... но я тогда совсем ничего не понимаю... – простонала Нина. – Что же это такое, господи...

Тетя Варя пожала плечами. Помолчав, спросила:

– Ты-то мне ничего не расскажешь, девочка?

Нина молча закрыла глаза. Когда она решилась их открыть, старой цыганки уже не было рядом. Гроза уходила, гром вяло перекатывался за Бутырской заставой, последняя вспышка молнии тускло, словно устало, осветила еще лежащие на скатерти письма.

– Диночка... – прошептала Нина, обхватывая плечи руками. – Диночка моя бедная, что же с тобой было? Что с тобой случилось? Что с тобой сделали, родная моя...

\* \* \*

В июле 1920 года в Ялте нечем было дышать. Сверкающее море, слегка размытое на горизонте золотистой дымкой облаков, лежало под раскаленным добела солнцем неподвижно, словно зеркальное. Пронзительно кричали в горячем воздухе чайки; на рейде курсировали черными точками корабли. Вдоль берега бесстрашно болтались контрабандистские фелюги, скользили рыбацьи шаланды. По вечерам на набережной играл военный оркестр; на сиреневых от вечерних теней бульварах кружились пары, слышался женский смех, звон гитар. Работали рестораны, кафешантаны, кабаре, публичные дома; стояли открытыми стеклянные двери кондитерских. Изредка с гор приносило маленькие серые тучки, гремящие над городом короткой грозой. Но дождь быстро заканчивался, мгновенно высыхала листва каштанов и магнолий, город встряхивался – и снова жил спокойной, беспечной летней жизнью, в которой только и было, казалось, заботы – как избавиться себя от зноя. Совсем рядом, на Кубани, возле Дона, гремели бои. Добровольческая армия отступала шаг за шагом, уже миновала страшная, тяжелая, бестолковая эвакуация из Новороссийска, уже прошел восторг после первых врангелевских побед. Но здесь, в этом золотом, солнечном, голубом раю с прозрачными ливнями, ласковым морем и теплыми, долгими, пахнущими миртом вечерами, казалось все это так далеко, так нереально... Заполнившие город солдаты выглядели беспечными; офицеры квартировали

в богатых домах Ялты, отчаянно флиртовали с барышнями, танцевали на балах. Каждый день справлялись свадьбы, каждый день от церквей разъезжались нарядные пролетки, а иногда даже автомобили со счастливыми новобрачными. Еще ни в одном сезоне в Ялте не игралось столько свадеб: и невестам и женихам, несмотря на всю безмятежность летней природы, на отдаленность боев, было ясно, что нужно торопиться.

Одна из коротких июльских гроз только что отгремела над набережной, разогнав прохожих и оставив на мостовой обширные лужи, высыхающие прямо на глазах. В посвежевшем воздухе парило; сильнее запахло отцветающей магнолией и розами. Короткий дождик еще брызгал, золотясь крохотными искорками в лучах выглянувшего солнца. По чистому перламутру неба бежали, словно торопясь вдогонку за уплывающей тучей, несколько веселых лохматых облачков. За ними, стоя прямо под дождем и запрокинув голову, наблюдал молодой человек, почти мальчик, в форме пехотного поручика, невысокий, загорелый, с рукой на перевязи. На его болезненном лице застыла задумчивая улыбка; казалось, он не замечал бегущих по лицу капель.

– Вересов, вы с ума сошли? – окликнули его из-под навеса, и поручик, вздрогнув, обернулся с виноватой улыбкой.

– Что вам, Сокольский?

– Мне – ничего, а вот вы положительно рехнулись! – сварливо повторил брюнет с сумрачным, некрасивым лицом, которое портил еще больше длинный шрам наискось. – Сестрички в госпитале измучились с вашей чахоткой, только-только все начало налаживаться, а вы, изволите видеть, вышли пастись под дождем! Экая пастораль! Сегодня же, ей-богу, нажалуюсь доктору!

– Не губите... – с грустной улыбкой отмахнулся Вересов, возвращаясь под навес веранды и садясь за стол рядом с товарищами. – Иван Эдуардович – натура грозная, ему бы кавалерией командовать, а не госпитальными барышнями... И потом – какой это, с вашего позволения, дождь? Знаете ли, после кубанских дорог в марте месяце... это просто горячий душ! Помните?

– Мне ли не помнить... – криво усмехнулся Сокольский.

Вересов снова выглянул из-под навеса, посмотрел на убегающую за горизонт вереницу облачков. Вздохнув, продекламировал:

Тучки небесные, вечные странники!  
Степью лазурною, цепью жемчужною  
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники  
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая?..

– Господи, Миша, вы еще помните какие-то стихи?.. – без улыбки удивился Сокольский. Вересов вздохнул:

– Последнюю строфу, вот жалость, забыл... Вам не кажется, что это о нас?

– Мне многое кажется. Только не вижу смысла рассуждать об этом, – отрезал Сокольский. Его зеленоватые, холодные глаза потемнели. – Мне эти тучки-цветочки и контрдансы на набережной по вечерам уже осточертели! Я на следующей неделе возвращаюсь в полк... и пошло все к чертовой матери!

Он нервным движением нашарил в кармане портсигар, неловко открыл его, выронил – и папиросы рассыпались по дощатому полу веранды. Сокольский выругался коротким, грязным словом, резко отвернулся. Сидящий рядом невысокий офицер лет сорока пяти с погонами полковника, с сильной сединой в волосах неодобрительно взглянул на него, но промолчал.

Вересов растерянно посмотрел на товарища. Тихо спросил:

– Что вы вздумали, Сокольский, голубчик? Как это возможно – в полк? После вашего ранения? Вас до сих пор боли мучают, третьего дня рана открывалась... Иван Эдуардович ни за что не позволит...

– Стало быть, придется обойтись без его дозволения, – резко ответил, не оборачиваясь, Сокольский. – И, видит бог, там само собой все пройдет. Мне Замайло земли с керосином замесит, перекрестит, намажет – и всех дел... Под Яссами только этим и спасались... Я не могу здесь дышать, поручик, поймите! От этой морской стихии, будь она проклята, меня уже тошнит! Там, в степи, по крайней мере, что-то происходит. В конце концов мы все подохнем, этого, видно, не избежать, но... но там все случится в бою и, надеюсь, без долгих проволочек. Я, к своему великому сожалению, еще верую в Бога. И не горю желанием пускать себе пулю в голову.

– Сережа, прекратите это немедленно, – отрывисто сказал, по-прежнему глядя в море, седой полковник. Нагнувшись, он поднял полупустой портсигар Сокольского и бросил его на скатерть. – В армии и так довольно психопатов, не хватало еще, чтобы лучшие офицеры Дроздовской дивизии поддавались бабьей истерике! А все эта ваша серебряная пыль... Вы не имеете права так распускаться! И тем более – в присутствии мальчика семнадцати лет, который и без того...

– Иван Георгиевич!!! – возмутился Вересов, и упомянутые семнадцать лет немедленно проявились во всей полноте на его вспыхнувшем, как заря, детском лице. – Я, кажется, никогда не давал повода!..

Темная краска прихлынула на миг к острым скулам Сокольского. Зеленые сумрачные глаза коротко и недобро сверкнули из-под бровей, но он сразу же взял себя в руки. Опустив голову, глухо произнес:

– Простите меня, господин полковник. Вы правы.

– Поймите же, Сережа, что... – почти ласково начал полковник, повернувшись к Сокольскому. Но закончить ему не дал басистый рык хозяина кондитерской, пузатого татарина:

– А ну пошла прочь, нечистой сила! Иди своей дорогам, здесь тебе брать нечего! Вот поналезли, шайтан, и не выгнать никак! Не видишь, дурной башка, – здесь балшие господа отдыхают!

– А ты, миленький, у господ и спроси – хотят они, чтоб я ушла, или нет? – звонко и ничуть не испуганно ответил девичий голос. Все три офицера изумленно обернулись – и увидели входящую под навес кондитерской цыганку.

Ей было не больше двадцати лет. С загорелого дочерна горбоносого лица блестели темные, живые, как у веселого зверька, глаза. В губах, словно папироса, торчала длинная соломинка. Босые ноги девушки были в пыли, возле большого пальца темнела ссадина, о которой, похоже, цыганка и не вспоминала. Во всяком случае, веранду она пересекла легкой упругой походкой, не обращая внимания на заинтересованные взгляды немногочисленных посетителей, и остановилась прямо около стола офицеров, непринужденно опершись грязной исцарапанной ладошкой о белую скатерть. У тротуара столпилось еще несколько оборванных черноглазых девчонок, которые, посмеиваясь, с интересом наблюдали за подружкой.

– Ах вы, мои солдатики дорогие... – Глаза цыганки метнулись по лицам офицеров, задержались на повязке Вересова, на забинтованной голове Сокольского. – Ах вы, мои несчастные... Как же вас эта война проклятая измучила – вижу, вижу... А позволь, я тебе, золотенький, погадаю! Одну только правду говорить буду, истинный крест!

Вересов, к которому обратилась цыганка, неуверенно улыбнулся и оглянулся на товарищей. Полковник пожал плечами; Сокольский усмехнулся.

– Попробуйте, Миша... Они иногда весьма забавно врут.

– Я никогда не вру, господин штабс-капитан, – обиженно заявила цыганка – и тут же поправилась: – Ах мне, господи, да что же я, глупая, и впрямь сбрехала! Это ведь уж и не

штабс-капитан, а целый ротмистр передо мной сидит и моему египетскому гаданию верить не желает!

– Какому-какому гаданию?..

– И чин новый неделю назад тебе дали от большого белого генерала! Только ты этому, бриллиантовый, вовсе не рад.

– Вот как, отчего же? – впившись в нее болезненно блестящими глазами, поинтересовался Сокольский.

– Оттого, что жизнь твоя почернела и белой уж не будет. Но вот что я скажу, ротмистр мой яхонтовый...

– Э, нет, позвольте! Погодите, Сокольский! И ты, красавица, подожди! – взвился молодой Вересов так, что молчавший полковник усмехнулся в усы. – Ты ведь мне первому предложила свои услуги! Я тоже хочу знать, что меня ждет!

– А ручку позолотить, разбриллиантовый?

– Сама ты разбриллиантовая! – рассмеялся Вересов, весело глядя в смуглую, чумазую, лукавую мордашку пророчицы. – Как тебя зовут?

– Меришка.

– Ну, вот, если хочешь, тебе плата. – Небрежным жестом он протянул цыганке монету, которая тут же исчезла в складках рваной юбки. – Так расскажи, что меня ждет? Скоро я женюсь, Меришка?

– Жениться тебе, ненаглядный мой, рано, – мягко ответила цыганка, и Вересов растерянно осекся, встретившись с ее внимательными, сразу посерьезневшими глазами. – Тебе не жениться, тебе к матери, домой хочется. Ты из дома мальчиком ушел, не успел даже казенное заведение окончить. Ушел потому, что хотел белому царю служить, свою страну спасти. Долгая твоя дорога была, долгая и опасная, много в ней было крови, много смерти. В тебя стреляли, и ты стрелял. Тебя убивали, и ты убивал. Но я тебе вот как скажу: кончилась твоя война, и страшнее, чем у тебя полгода назад было, на большой-большой реке, уж не будет. Никогда в жизни. Матери своей ты больше не увидишь, врать не стану, но она жива и здорова и каждый день за тебя молится. В доме твоём сейчас чужие люди живут, и тебе туда возврата не будет. Ждет тебя скорая дорога, любовь крепкая и долгая жизнь.

– Так... мама жива? – растерянно спросил ее Вересов. – Где она сейчас?

– Мишель, девчонка же морочит вам голову, это ее ремесло! – с сердцем проговорил Сокольский. – Неужели вы не понимаете?

– Друг мой, ей-богу, вы – идиот, – холодно, по-прежнему смотря в сторону, заметил ему полковник.

Поручик молча переводил взгляд с одного на другого.

– Ты их не слушай, меня слушай! – снова вклинилась цыганка, непринужденно прихватывая двумя грязными пальцами пирожное с тарелки Вересова. – Клянусь душой своей, все с твоей матерью хорошо! Она уехать успела и в спокойном месте живет, я так вижу!

– А... скажи еще мне вот что! – заспешил Вересов, торопливо подвигая цыганке всю коробку пирожных. – Скажи, милая, я еще встречу с братом? Мы расстались с ним при сдаче Новороссийска, и с тех пор...

– Жив и здоров, в госпитале, в Констанце! – единым духом, хоть и несколько невнятно из-за набитого пирожным рта, отрапортовала цыганка. – И вот что я тебе еще поведаю, нагнись-ка...

Вересов и цыганка сблизилась головами и начали шептаться.

– Миша, у нее же могут быть вши, а мы с вами их только что насилу вывели! – морщась, заметил Сокольский, но прямо под нос ему решительно сунулся маленький коричневый кулак с блеснувшим на одном из пальцев перстнем, и ротмистр невольно отшатнулся. Растерянно оглянувшись, он заметил усмешку в сощуренных глазах полковника, пожал плечами,

встал. Небрежно засвистев сквозь зубы, пошел к дверям, остановился там, опершись плечом о косяк, и с иронической улыбкой начал наблюдать за совещанием Вересова и цыганки. Слов Сокольский не слышал, но ему было видно, как освещается широкой улыбкой лицо товарища и как он внимательно, радостно, с детской доверчивостью слушает воодушевленный шепот гадалки. В конце концов та прыснула смехом и потерла большой палец об указательный. Вересов с готовностью полез в карман; к своему крайнему изумлению, не обнаружил там ничего и с мольбой обратился к Сокольскому:

– Ротмистр, ради бога, одолжите! Она хочет для нас сплясать, а мне нечем ей платить!

– Сколько же просит эта Матильда Кшесинская? – поинтересовался, не двигаясь с места, Сокольский. – Извольте, Миша, но...

– Оставьте, ротмистр, я плачу за это удовольствие, – смеясь одними глазами, произнес полковник и через стол передал цыганке ассигнацию. Та ловко спрятала ее в вырезе рваной кофты, быстро поклонилась и, едва выпрямившись, с ходу кинулась плясать. Крыльями взлетели вверх ладошки, всплеснул подол красной юбки, показав на миг до колен стройные, сильные, коричневые ноги, метнулись из стороны в сторону растрепанные косы. Девчонка ловко, на цыпочках, пошла по кругу. С тротуара донеслась нестройная песня и хлопки: юные цыганки как могли помогали подружке:

Э Маляркица гэя вэшэса,  
Тэрноро чяворо – дроморэса...

Цыганка развернулась в пляске, и Сокольский невольно сделал шаг вперед навстречу этому загорелому, улыбающемуся лицу. Плясунья, поймав его взгляд, лукаво покачала головой, встряхнула ею, отчего косы девушки рассыпались на мелкие вьющиеся пряди. Отбросив с лица волосы, цыганка взмахнула руками, дрогнула плечами – одно из них, выпроставшись из порванного ворота кофты, так и осталось голым. Вересов даже приподнялся из-за стола. Цыганка небрежно вернула рукав на место, подбоченилась и пошла дробным подбивом по загудевшему полу, умудряясь при этом еще и припевать:

Тэ нашас, тэ нашас, Маляркица!  
Др'ада темнинько э ратори!

– Браво, браво! – захолопал Вересов, когда лихая пляска кончилась, цыганки у тротуара весело завизжали и плясунья, тяжело дыша, но по-прежнему улыбаясь во весь рот, остановилась у стола. – Замечательно! А петь ты умеешь?

– Миленький, за деньги – хоть оперу тебе спою! – переводя дух, заверила цыганка.

– Вот как? – послышался за ее спиной голос Сокольского, и девушка, вздрогнув от неожиданности, обернулась. – Какую же?

– Да любую, – пожала она плечами – Не беспокойтесь, громко спою! Так слышно будет, что... Господин ротмистр, ЧТО ВЫ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?!

Рука Сокольского, непринужденно улегшаяся на талию цыганки, была отброшена с такой силой и яростью, что ротмистр невольно отшатнулся. Он не испугался отпора, но мгновенно изменившийся тон девушки и ее возмущенное лицо заставили его нахмуриться.

– Что же ты обиделась, милая? У меня тоже есть деньги... Если хочешь, можем прямо сейчас взять извозчика и поехать в гостиницу.

– Да... Да как вы смеете?! – взвилась цыганка. – Подите прочь! И... и кто вам дал право говорить мне «ты»?!

– Что?.. – опешил Сокольский.

На веранде воцарилась тишина – такая, что стало слышным вялое журчание фонтанчика во внутреннем дворе. Девушка, испепелив Сокольского взглядом, резко отвернулась и пошла было к выходу, но ротмистр уже пришел в себя и крепко, с силой взял ее за плечо. Цыганка рванулась, но ротмистр держал крепко. В его зеленых, сощурившихся глазах заблестела сумасшедшинка.

– Нет уж, красавица, я тебя не выпущу!

– Ротмистр, прекратите это! – поднялся из-за столика полковник. – Я приказываю вам! Оставьте ее в покое!

Подружки плясуньи с гневными воплями ворвались в кондитерскую. Сокольский, не обращая на них внимания, с силой потянул на себя цыганку. Та, застонав от ярости, уперлась обеими руками в его грудь, извернулась... и ротмистр, взыв от боли, схватился за плечо.

– Ч-чертова кукла... Укусила!

По серому рукаву расплзлось пятно крови. Выругавшись, Сокольский бросился к цыганке, но мимо него метнулся пестрый вихрь: девушки стаей вылетели из кондитерской, подняв столб пыли у порога. Когда она улеглась, на улице уже никого не было. А когда разочарованный Вересов обернулся к столу, то увидел, что так же бесследно пропала едва начатая коробка с пирожными.

– Вот этого я вам не прощу никогда! – сердито сказал он ротмистру, который с проклятиями растирал плечо. – Вы спугнули мою Земфиру! Для чего вам понадобилось это свинство? Неужели мало проституток в Нижнем городе?

Сокольский тихо выругался, вернулся за стол, сел на свое место, взял портсигар, дождавшийся его на краю скатерти, – и криво усмехнулся:

– Вот проклятые, когда же они и это успели?..

Портсигар оказался пуст. Одинокая, забытая папироса лежала под ним.

– Честное слово, это все она, Земфира! – с невероятной гордостью произнес Вересов. – Поглядите, и на полу тоже ни одной, а вы рассыпали больше дюжины! И напрасно вы на меня так смотрите, я и сам не заметил, как... Смотрите, она ведь и пирожные украла, всю коробку, господа, ей-богу!

– Не могу понять вашей радости, – сквозь зубы процедил Сокольский. – Обычная базарная воровка, по которой веревка плачет, только и всего.

Полковник протянул Сокольскому папиросу, дал огня и, дождавшись, пока тот затынется, вполголоса проговорил:

– Еще одна подобная выходка, ротмистр, – и вы отправитесь строевым маршем на гауптвахту. Вы утрачиваете человеческий облик. Я все понимаю, Сережа, ранение, нервы, усталость... но надо держать себя в руках, мой милый. Вам пора прекращать эти забавы с кокаином.

– Господин полковник, я не мальчик-кадет, – не поднимая глаз, ответил Сокольский. – Если вам угодно отправить меня на гауптвахту – извольте, я подчинюсь. Но в мои отношения с кокаином не вмешивайтесь, это касается только нас с ним.

– Сережа, голубчик, но я ведь неофициально!.. Вы губите себя, и...

– Оставьте, прошу вас, – отрезал Сокольский.

Полковник внимательно посмотрел на него и продолжать не стал. Глядя в открытую дверь на пыльную улицу, усмехнулся:

– Какие, однако, странные манеры у этой вашей... Земфиры. Ее, стало быть, возмутило ваше обращение на «ты»? Потрясающе, господа... Неужели даже цыгане уже нахватились этой красной отравы?

– Теперь она больше не придет сюда, – огорченно сказал Вересов. – А все из-за вас, Сокольский!

– Коль уж вы так воспылали, поищите ее в таборах, – мрачно посоветовал ротмистр. – Цельными табунами стоят за городом. Наверняка эта дикарка оттуда. Вот только зачем вам это

все – убейте не пойму. Лучше пойдемте вечером в «Парадиз» слушать Надин Белую. Певица, красавица... и, в отличие от вашей бандитки, не кусается!

Вересов только вздохнул. Полковник молча глядел на сверкающую гладь моря. Сокольский смолит уцелевшую папиросу, время от времени, морщась, дотрагивался до пострадавшего плеча и чему-то хмуро, безрадостно улыбался.

– Взяла, взяла! Меришка райестыр пирожны чердя!<sup>12</sup> – весело звенело над дорогой, уходящей от города в степь. Пыль еще клубилась в воздухе: лишь минуту назад стайка юных цыганок перешла со стремительного бега на шаг. Задыхаясь и хохоча, девушки висли на плечах друг у дружки, переводили дыхание и вытирали вспотевшие лбы.

– Взяла, взяла, взяла, взяла! – громче всех вопила, прыгая в облаках пыли, худая большеперотая Брашка, и голый, грязный мальчишка у нее на руках подпрыгивал вместе с ней. – Я вам говорила! Я вам всем говорила! Я, я со всеми спорила! Симка, гони кораллы!

– И ведь как она умеет! – с завистью проворчала высокая глазастая сумрачная Симка, покосившись на Мери, идущую с коробкой в руках. – В таборе без году неделя, а вон как настропалилась! Господам гадает – а те с открытыми ртами сидят да слушают!

– Так она ж и сама из господ! Княжна целая! Вот и знает, что им говорить нужно! Как поп по книжке жарит! Нам, неученым, и рядом не скакать! – расхохоталась Брашка.

– А вы видели, видели, как она барина цапнула?! – давилась смехом, скаля большие зубы, черная, как сапог, Райка. – Я-то уж подхватила отбивать ее, а она... «По какому праву «ты» мне говоришь?! Как смеешь?!» – и хватъ зубами! Раз – коробку со стола! И – бегом!

– Как есть романы-чашка<sup>13</sup> немытая, а не княжна, – хмыкнула Брашка, на пятках разворачиваясь к мрачной Симке. – Эй, а ты глухой не прикидывайся, драгоценная моя! Гони кораллы, говорю, раз проспорила!

– Сейчас тебе! Уже ниточку рву, уже перекусываю, – огрызнулась через плечо та, на всякий случай прибавляя шагу. – Не было за кораллы разговору!

– Лопни моя душа, да как же это не было? Как не было, когда все слышали?! Чаялэ!<sup>14</sup> Чаялэ, скажите, вру я или нет?! Да что же это такое?! Жадность тебя заела, дорогая моя, или совесть на базаре потеряла?!

– Ха, она про мою совесть вспомнила! Свою бы лучше по карманам поискала! Кораллы ей! И за что я их отдавать должна?! Будто твоя Меришка табун коней украла, а не... Меришка, покажи, а? Открой! Дай попробовать!

– Хасиям, да что же это такое, люди!.. – заголосила Брашка, но ее уже никто не слушал: девушки столпились вокруг Мери, которая, присев на корточки, открывала измятую коробку.

Воздушные кремовые пирожные являли собой после галопа по дороге довольно жалкое зрелище, но к бело-розовому месиву немедленно протянулось восемь грязных пальцев, и над дорогой поднялся стон наслаждения:

– Дэвлалэ, дадэ мирэ...<sup>15</sup> Меришка, драгоценная, еще дай, а?! Да-а-ай... а?

– Не дам, – отрезала Мери, захлопывая коробку.

– Ночью одна под периной сожрет, – ехидно заявила Симка, облизывая палец.

– Ничего подобного, – холодно заметила Мери. – Это для нашей Копченки. Она просила.

Несколько мгновений над дорогой висела озадаченная тишина. Затем Брашка солидно кивнула и сказала:

<sup>12</sup> Меришка у барина пирожные украла! (цыганск.)

<sup>13</sup> От «романы чай» – цыганская девочка, цыганка (цыганск.).

<sup>14</sup> Девчата! (цыганск.)

<sup>15</sup> Господи, отцы мои... (цыганск.)

– Это да. Я сама слыхала, чаялэ, верно. Уж какой день у тетки Насти просит сладенького. А где сейчас возьмешь? Тетка Настя ей и так за неделю почти целую сахарную голову скормила, а все мало!

– Брюхатой бабе надо все давать, что просит. Потому что это не она, а дите в ней хочет, ему, стало быть, и требуется! – важно включилась в разговор взъерошенная, как веник, Манярка в изодранной, чудом держашейся на худых коричневых плечах кофте.

– Куда ж ему сахара-то? – усомнилась Симка.

– Тю! Ему там, в пузе, ой как много всего надо! – отозвалась Брашка. – Наша Гапка, когда тяжелая ходила, гвозди кованые у отца выпрашивала и сосала! Клянусь, с утра до ночи! Сына так и зовет теперь – СаSTRUно!<sup>16</sup> И, главное, чаялэ, так оно и есть – железный! Надорвуся скоро вся его таскать! У, идол, когда пойдет только, вздохну слободно!

Поднялся хохот. Упомянутый голый «идол» тоже захихикал, блестя двумя горошинками зубов и не забывая при этом теревить бусы на шее юной тетки. Не смеялась только Мери, глубоко задумавшись о чем-то и бережно неся под мышкой коробку с пирожными. Краем уха она слышала болтовню девчонок о том, что Юлька-Копченка совсем плоха, что другие цыганки с такими пузырями как ни в чем не бывало бегают по хуторам, добывая хлеб для семьи, а эта, надо же, уж месяц лежит животом вверх, плачет или спит, а почти вся еда из нее выходит наружу, вот и пирожных жалко, тоже наверняка пропадут... И кто бы мог подумать! Ведь первая добисарка<sup>17</sup> на весь табор была, никому до нее допрыгнуть не удавалось, а теперь что?..

– У, пустяки. Родит и снова забегает! – подытожила Симка. – Глядишь, и замуж выйдет.

– Дура! Куда ей замуж – при живом муже?! – фыркнула Брашка.

– Му-уж... – хмыкнула Симка. – Мужа этого уж какой месяц не видать. Девки, не помните, когда Мардо уехал – до Пасхи или после?

– Какая разница? Все едино муж!

– Муж должен с женой жить! – взвилась Симка. – А не болтаться годами бог весть где! Вон – два года его не было, на третий появился, дитя смастрячил – и снова нет его! А Юльке как жить?!

– Жила же до сих пор... А Мардо, может, и вернется еще.

Мери невольно вздрогнула, услышав последнюю фразу. По спине пробежал озноб, теплый крымский вечер словно разом сменился зимней стужей. К счастью, никто не заметил этого состояния Мери, потому что впереди показалось неглубокое желтое озерцо-лиман, поросшее по берегу высохшим камышом, и девчонки с визгом и воплями помчались к воде. Утруждать себя раздеванием юные добытчицы не стали, да и табор с глазастыми парнями был недалеко, поэтому вскоре мелководье вскипело пестрыми пузырями юбок и рукавов. Брызги взлетали до небес, хохот и визг поднялись такие, что два коршуна, величаво парившие над вечерней степью, стремительно развернулись и, заложив круг, умчались в сторону спускающегося солнца. Девушки не заметили, что Мери не вошла вместе с ними в воду и сейчас одна идет, бережно прижимая к себе коробку с несколькими уцелевшими пирожными, к табору.

Три десятка палаток, розовых от закатных лучей, расположилось на небольшом холме справа от дороги. Там уже загорались костры; цыганки, вернувшиеся из города и дальних хуторов, готовили еду, покрикивали на детей, бегающих между шатрами, устало переговаривались друг с дружкой. Чуть поодаль, в траве, бродили кони, там же вертелись лохматые грязные псы. Несколько цыган, сидя возле лошадей, степенно дымили трубками, неспешно беседовали. Раскалившийся за день воздух свежел, становился прохладным; из степи, как сумасшедшие, верещали цикады. Первые звезды – бледные, чуть заметные – уже проявлялись из темнеющей синевы неба на востоке. Запад весь горел, высвечивая темным золотом каждую травинку на

---

<sup>16</sup> Железный (цыганск.).

<sup>17</sup> Добытчица (цыганск.).

горизонте, заливая атласным блеском спины лошадей, поблескивая то на опрокинутом ведре, то на подвешенном над углями котелке, то на круглой серьге склонившейся над ребенком молодой женщины. Мери со своей настрадавшейся за время пути коробкой подбежала к весело потрескивающему огню и с размаху села на землю рядом со старухой-цыганкой, которая задумчиво мешала ложкой в бурлящем котелке.

– Добрый вечер, тетя Настя!

– Явилась – не запылилась... – с напускным негодованием проворчала цыганка. – Где носило тебя, глупая? Вон уж темнеет, а вас, стрекоз, не сыщешься! Это что, такой закон от новой власти вышел, чтобы немужним девкам в потемках к табору вертаться? Кнута нету на вас, вот что!

– Да ведь не темно еще! – улыбнулась Мери. – И мы все вместе были! А я вот что принесла для нашей Юльки! Как она? Сегодня опять тошнило?

– Да нет, бог, кажется, миловал...

Настя с интересом заглянула в коробку. Мери пристально следила за выражением темного, красивого, несмотря на годы, большеглазого лица старухи. И облегченно вздохнула, когда та подняла взгляд и широко улыбнулась:

– Ах ты, умница моя... Поди, поди, отдай ей скорее! Они ведь скиснут вмиг, ежели сразу не съесть!

– Да вот и я боялась. Только... – Мери запнулась. – Лучше ты сама ей отдай. И... не говори, что я принесла.

– Ну, вот еще! Твоя кофа<sup>18</sup>, девочка, тебе и хвастаться! Иди-иди, в шатре Юлька, дрыхнет...

Мери, перестав улыбаться, покачала головой, отвернулась. С лица старой цыганки тоже пропала улыбка. Со вздохом взяв из рук Мери коробку с пирожными, Настя вошла в шатер.

Там было уже совсем темно. Щурясь, старая цыганка с трудом разглядела у матерчатой стены, в том месте, где рыжая полоса заката просачивалась под натянутое полотно, лежащую ничком на перине женскую фигуру.

– Юлька, спишь?

– Нет, – хрипло отозвалась та из полумглы. – Что-то нужно, дае?<sup>19</sup> Я сейчас встану, мне уже хорошо... Голова только кружится, а так совсем хорошо...

– Лежи уж, несчастная... Ничего, скоро опростаешься, недолго тебе мучиться осталось. – Настя села рядом на перину. – Взглянь-ка, что я тебе принесла! Бери-бери! Ешь! На здоровье! Гляди-ка, тут и розовенькое! Это тебе не сахар жженный лизать!

– Дэвлалэ-э... – простонала Юлька, хватая коробку и жадно запуская в нее пальцы. – Ой-й-й, как пахнет... Даленьки... Дэвлалэ, спаси-и-ибо...

Настя только усмехнулась, глядя на то, как Копченка полными пригоршнями вытаскивает из коробки потерявшие всякий вид пирожные и жадно облизывает ладони и пальцы.

– Где ты их взяла? – невнятно спросила Юлька, когда коробка опустела.

– Не я, девки принесли. – Настя помолчала. – Меришка достала. А отцу вон папиросин притащила, да хороших каких! Совсем господских!

С исхудалого лица Копченки пропала блаженная улыбка, губы сжались в жесткую полоску.

– Вон как... – сквозь зубы сказала она. – Совсем ваша раклюшка цыганкой заделалась. Ну, мишто<sup>20</sup>, мишто... Должен же кто-то в семью добывать, покуда я тут колодой валяюсь.

---

<sup>18</sup> Добыча (цыганск.).

<sup>19</sup> Мама (цыганск.).

<sup>20</sup> Хорошо (цыганск.).

Последний луч заката, мигнув, растаял на полоске травы под крылом шатра, стало сумеречно. Ярким пятном просветился сквозь полотнище горящий костер, явственно послышался треск сучьев, чей-то негромкий смех, поддразнивающий девчачий голос, стариковское ворчание.

– Что ты на Меришку все собачишься? – помолчав, спросила Настя. – Что тебе с ней делить? Девочка хорошая, никто в таборе про нее слова дурного не скажет. Цыганкой хочет быть – ну и что худого в этом? Не от хорошей жизни, поди, хочет. Не случись этой заварухи красной-белой, наша Меришка и посеячас бы в хоре романсы пела, и брильянты б ей господи дарили. Над чем тут смеяться? Что у раклюшки никого родни на всем свете не осталось? Что мать гаджэ в овраге убили? Что она с одного только горя к цыганам прилепилась? Девочка-то умная, понимает, что коль с нами живет, то и быть должна как мы. Старается. Получается у нее. Что тебе-то до того?

– Ничего. Паскудно просто, – сквозь зубы, глядя в сторону, произнесла Юлька.

– Чего паскудного? – В голосе Насти появилась сердитая нотка. – Вон, она уж заговорить с тобой боится, а пирожные, гляди, не забыла достать! Хоть ты ее и не просила!

– Много чести! – Копченка даже зажмурилась. – Подыхать буду – а у ЭТОЙ не попрошу!

– Далэ-далэ, да что ж она тебе сделала? – без улыбки покачала головой Настя. – Мужика, кажись, у тебя не сманивала...

– Сам сманился, – хрипло отозвалась Копченка.

– Не к ней ведь, – в тон ей отозвалась Настя.

Юлька вздрогнула. С ее лица пропала гримаса ненависти, оно стало испуганным. Копченка искоса, растерянно взглянула на Настю. Но та словно нарочно смотрела на мечущийся свет костра. Губы Юльки дрогнули, она, наверное, хотела что-то сказать, но, так и не решившись, медленно легла навзничь и уткнулась лицом в подушку. Настя молча поднялась и уже собиралась выйти из шатра, когда увидела, что плечи Копченки дрожат. Вздохнув, старая цыганка вернулась, села, а потом и легла на перину рядом с невесткой, обняла ее:

– Ну что ты, ей-богу, глупая? Пропали он пропадом, Митька твой, – выть еще из-за него! Он же ни одной слезинки твоей не стоит! Пятки твоей не стоит!

– Он тебе сын, не говори та-а-ак...

– Потому и говорю, что сын. Плюнь! Ушел – и слава богу. Да к тому ж – сколько раз он эдак-то уходил, Митька наш? И сколько раз возвращался? Не припомнишь? Он к тебе, девочка, как присужденный – где ни загуляет, а все назад, к своей Юльке бежит!

– Не ко мне, – хрипло возразила Копченка. – Ты меня не утешай, дае, я ведь не дура. Он меня никогда не любил. В табор возвращался, когда хвост ему прижаривали, это да.

– Не было б тебя здесь – и не возвращался бы.

– Да ка-ак же... Уж шутлаги бы ему и ты в миску налила, и подушку б кинула, а что Митьке еще нужно? Ничего... Вор – он вор и есть. И за какой только грех я по нему пропала, дэвлалэ... Кабы я с собой хоть что сделать могла... – Она протяжно всхлипнула, с сердцем вытерла кулаком слезы. – Кабы только могла, дэвлушка...

Настя, не найдя что возразить, тяжело вздохнула. Копченка неловко приподнялась, села, обхватив колени руками, но живот мешал ей, и она откинулась назад. Спутанная прядь волос, выбившаяся из-под перекрученного платка, упала ей на лицо.

– Ну, а Меришка-то наша тут при чем? – спросила Настя, ладонью убирая грязные волосы со лба невестки.

– Так ведь из-за нее, заразы, Митька и ушел! – с ненавистью сказала Копченка, глядя на пятно огня черными злыми глазами. – Из-за нее! Вспомни, мы только сюда, в Крым, повернули – а на другой день его и сдуло!

– Но почему?..

– Потому что здесь – рая!<sup>21</sup> Парнэ!<sup>22</sup> А Митька в Москве комиссаром был – нешто ты не помнишь?

– Девочка, так где мы – а где Москва?! – взвилась Настя. – Уж не таким развеликим начальником твой вор безграмотный в Москве был, чтобы про него вся Расея знала! Ленину, поди, сапог не чистил Митька твой! Кто его здесь знает, кому он тут нужен, каким господам?! Цыган и цыган! Таборный, грязный, как все! Кто бы догадался-то?!

– Помогли бы догадаться, – сквозь зубы процедила Юлька. – Есть кому.

Настя осеклась на полуслове. И, проследив за взглядом Копченки, вполголоса произнесла:

– Воля твоя, милая, ты рехнулась. С чего ты взяла, что Меришка доносить побежит? Не таковская она! Это же видно!

– Откуда ты знаешь? Откуда?! – почти закричала Юлька, ударив кулаком по перине. – Да Митька... Он, когда уходил, сказал мне... Сказал, что от греха подальше уходит, что раклюшка беспрерменно его господам сдаст... Так и сказал – княжна продаст! И уже на другой день не было в таборе его-о-о...

– Вот что, девочка, – жестко, перебив Юлькины рыдания, проговорила Настя. – Что Митька сказал, как отбрехался, тебе лучше знать. Но ты ведь и сама не дура. И людей хорошо видишь – иначе какая бы из тебя добисарка была? Меришке нашей цену ты понимать должна. Эта девочка, коли захочет, всех наших голоногих дур переплюнет. И человека она на смерть не продаст. Никакого, даже самого распоследнего. Хотя, может, и стоило бы... не знаю.

Копченка молча закрыла лицо руками. Настя, не глядя на нее, встала, взяла пустое ведро и вышла из шатра. И сразу же увидела сидящую у огня Мери. Та, не шевелясь, смотрела в огонь, ее горбоносое лицо казалось безмятежным. С минуту Настя смотрела на девушку. Затем окликнула:

– Меришка! Давно ты здесь?

– Давно, – спокойно ответила Мери. – Съела Юлька пирожные?

– Ха, съела... Слизала! Чуть не вместе с коробкой заглотила, как щука голодная!

– Ну и слава богу, на здоровье, – глядя прямо в глаза старой цыганке, сказала Мери. Поднялась и, взяв из ее рук ведро, пошла прочь от шатра.

Идти до лимана было недалеко. Поднявшаяся над степью луна бледным молоком залила отлогий, поросший низким камышом берег, серебристыми бликами заиграла на воде, превратила в голубоватый дым сгустившийся над зарослями туман. В камышах что-то сердито зашуршало, и Мери, машинально сжав дужку ведра, остановилась. Но это была всего лишь заблудившаяся чайка, которая, резко крикнув, вскинулась над лиманом и черной тенью прорезала воздух, уносясь к дальнему, невидимому морю. Проводив ее глазами, Мери перевела дух, усмехнулась. Села на траву, поджав под себя ноги. К сердцу подступила смертная тоска. Тоска, которой никто в таборе не должен был ни увидеть, ни понять.

Уже полгода она здесь. Полгода здесь, в кочевом таборе, а до этого были еще несколько лет в Москве, в цыганском хоре, где Мери плясала ничуть не хуже цыганок. Многие удивлялись – для чего ей это? Многие – даже гимназическая подруга Дина, красавица-цыганка, сероглазая примадонна хора.

«Ты же княжна, барышня, для чего тебе с нами в ресторане сидеть?»

«Мне нравится», – улыбалась Мери. И говорила чистую правду. Цыгане пожимали плечами, но не особенно удивлялись: русских певцов и певиц в цыганских хорах всегда бывало достаточно. Опытные хореводы даже утверждали, что эти гаджэ пели и плясали по-цыгански куда лучше самих цыган. По крайней мере, на «таборную цыганку Меришку» съезжалось

<sup>21</sup> Господа! (цыганск.)

<sup>22</sup> Белье! (цыганск.)

ничуть не меньше гостей, чем двадцать лет назад – на ее мать, знаменитую Анну Снежную. И, может быть, Мери и пропела бы до старости в цыганском хоре, если б не грянувшая революция, отобравшая у нее и мать, и двоюродного брата, погибшего на Кубани. В конце девятнадцатого года княгиня и княжна Дадешкелиани покинули голодную Москву в крестьянской телеге. Они были намерены пробираться в Крым, куда еще не докатилась новая власть и куда устремлялись толпы беженцев со всего севера России.

Мери вздрогнула, перекрестилась. Передернула плечами, внезапно почувствовав озноб посреди теплой южной ночи. Когда, через сколько лет ей перестанет это сниться?.. Перестанет видеться во сне черная-черная, непроглядная ноябрьская ночь, пустое поле, телега с задранными оглоблями, в которой она очнулась – одна... Рядом не было ни матери, ни мужика, который их вез, ни даже лошадей... никого. До утра Мери бегала по темному полю, спотыкаясь о невидимые бугры, проваливаясь в ямы, и кричала, звала, плакала... Никто не отзывался в ответ. Уже под утро со стороны незнакомого города раздались глухие звуки выстрелов, напугавшие Мери так, что она опрометью кинулась обратно к телеге, зарылась в сено и сидела там до первых лучей солнца. Когда рассвело, девушка обнаружила следы копыт лошадей, удаляющиеся по дороге к городу. В непросохшей осенней грязи видны были и следы знакомых ботинок матери. Сообразив, что, скорее всего, и мать, и хозяина повозки увел обнаруживший их ночью красный разъезд, Мери помчалась по дороге к городу.

Она провела в Серпухове несколько дней, но так и не смогла ничего узнать о судьбе матери. Страшную мысль о том, что она, скорее всего, убита, подтвердили и жители, шепотом рассказавшие маленькой княжне о регулярных расстрелах «контры» в балке. Идти Мери было некуда. Денег не было, еды тоже. Она сама не помнила, как мутным, снежным днем оказалась на вокзале, как лишилась чувств от голода. Там, под платформой, ее и нашли цыгане. И привели в табор, стоящий на окраине. И первой, кого увидела среди палаток Мери, оказалась ее московская подруга Дина. Вся ее семья бежала из столицы после того, как в доме на Живодерке были застрелены отец Дины, красный комиссар и трое красноармейцев.

Первое время Мери страшно боялась, что таборные цыгане прогонят ее, и изо всех сил старалась быть полезной: ухаживала за заболевшей подружкой, помогала по хозяйству ее матери и бабке, ходила по деревням вместе с цыганками, учась тому, что любая цыганская девчонка умеет с малолетства: выпрашивать и гадать. Через несколько месяцев уже никто не узнал бы в черномазой горбоносой девчонке княжну Дадешкелиани. И Мери, которая рассчитывала продержаться в таборе хотя бы до весны, а там – потихоньку трогаться в Крым, не раз ловила себя на мысли, что ни в какой Крым она, наверное, не хочет... И не только потому, что таборная жизнь оказалась тяжелой, но ничуть не страшной, что цыгане, похоже, любили ее, что Мери чувствовала себя в безопасности среди этих оборванных, шумных людей, крепко державшихся друг за друга среди сошедшей с ума страны, среди стрельбы, ужаса и голода. Девушка знала: пока она здесь, у цыган, ей ничто не грозит. Что по сравнению с этим рваная юбка, голые ноги, протянутая за подаянием рука? Ведь руку тянула не княжна Дадешкелиани, а девчонка-цыганка по имени Меришка – в таборе ее никто и не звал по-другому. Зимой Мери попробовала, на свой страх и риск, гадать – и, к своему изумлению, имела успех. В отличие от цыганок она понимала, какие слова нужны замученным войной, голодом и продрозверсткой бабам в деревнях, испуганным женщинам в городских потрепанных платьях на полустанках и в вагонах поездов, идущих на юг, заросшим бородами, пахнущим табаком и потом солдатам. Она знала, чем живет, чем мучается огромная растерзанная страна, догадывалась, каких слов ждут от нее, на что отчаянно надеются уставшие люди. И уверяла солдат, что война скоро кончится, а им всем дадут от советской власти землю, кому сколько нужно. И обещала крестьянским теткам отмену налогов, большой урожай, возвращение сыновей и то, что корову новое правительство вернет непременно, а может быть, и двух. И шепотом говорила растерянными дамам интеллигентного вида такие вещи, что те плакали в скомканные платочки и отда-

вали замызанной пророчице последние золотые побрякушки. Цыганки одобрительно посмеивались, подмигивали друг дружке:

«Вот кому-то счастье в семью будет, невестка удачливая! Эй, Меришка, замуж за цыгана-то пойдешь?»

«Полюблю – так и пойду!» – лихо отвечала девушка, отчаянно боясь в глубине души – вдруг кто-нибудь из этих пронырливых, языкатых, видящих все насквозь теток догадается, что она – уже... Уже влюблена до смерти. И ничего не может с этим поделать.

Мери зажмурилась. Одними губами позвала: «Сенька-а...» – и снова словно наяву увидела его. Когда-то они с Диной, смеясь, называли ее двоюродного таборного брата Демоном: настолько явным было сходство Сеньки с героем нашумевшей в столице картины Врубеля. Прошло больше двух лет, прежде чем Мери с Сенькой встретились снова в таборе, и девушка едва узнала того застенчивого, краснеющего до ушей от насмешек Дины таборного мальчишку в высоком, сумрачном, сильном парне с огромными, упорными глазами, в которых, как ни всматривайся, не разглядеть зрачка. За это время Сенька успел побывать на войне, повоевать за красных и за белых и вернуться к деду в табор. От войны у Семена остались шрам на лице после удара кавалерийской шашкой, раненое плечо, нывшее к непогоде, дорогая полковничья шинель, которую Сенька носил в жару и в холод, да привычка молчать днем и ночью, пугавшая деда и бабу – самых близких людей, воспитавших его после смерти родителей. О годах, прошедших на войне, он никому не рассказывал. И, наверное, цыгане удивились бы, узнав о той холодной лунной ночи, когда они вдвоем, Мери и Сенька, просидели почти до утра у потухающего костра. Никакого уговора между ними не было. Просто Мери той ночью увидела во сне мать, проснулась в слезах, поняла, что больше ей не заснуть, – и выбралась из шатра. И сразу же наткнулась на взгляд Семена, сидящего у гаснущих углей. И почему-то совсем не удивилась, когда он накинул ей на плечи свою шинель, подбросил веток в огонь и снова сел напротив.

Всю ночь их разделял костер – то умирающий до ленивых, малиновых головешек, то вскидывающийся чуть не в самое небо после очередной брошенной на угли охапки хвороста. Всю ночь Сенька рассказывал о своей войне, не поднимая глаз от языков огня, а она, Мери, молча, боясь пошевелиться, слушала. Слушала, не замечая, как снова бегут по лицу слезы, не зная, что ответить на вопросы цыганского парня, случайно попавшего на не нужную ему войну.

«Чаери<sup>23</sup>, ты же ученая, гимназию кончала... Объясни, для чего это вам сдалось? Самито знаете? Я вот за два года так и не понял ничего».

Что Мери могла ему сказать? Что сама понимает не больше, несмотря на семь классов гимназии, кучу прочитанных книг, медицинские курсы и бесчисленные митинги, на которые они с Диной бегали в Москве? Что никакими словами не объяснишь и не оправдаешь этой крови, страха, голода и несправедливости, хлынувшей на измотанную страну? Что никто не вернет ей, Мери, ни матери, ни брата, что она даже не узнает, как умерли оба... Слава богу, Семен и не настаивал на объяснениях. Лишь усмехнулся, пристально посмотрел на нее черными, без блеска, глазами, а потом заговорил о другом. И прошло много, много дней, прежде чем Мери поняла, что жить без невозможных Сенькиных глаз больше не хочет.

Она никому не рассказала о своем чувстве. Никому, даже Дине, самой близкой подруге, которую любила всем сердцем, зная, что та была тайной женой ее брата, Зураба. Мери узнала об этом случайно, но с Диной о том никогда не говорила, понимая, что Зурико больше нет, а подруге в ее неполные двадцать лет нужно как-то жить дальше. Впрочем, Дина, городская цыганка, артистка, неожиданно попавшая в кочевой табор, сама не знала, что поделать с собственной жизнью.

Мать девушки, родившаяся в таборе, чувствовала себя на дорогах, среди шатров, как рыба в воде, но ее дочь, окончившая с медалью гимназию, не мыслившая жизни без книг,

---

<sup>23</sup> Девочка (цыганск.).

театра, музыки, упорно не желала становиться кочевой цыганкой. При этом Дина была вовсе не глупа и хорошо понимала, что, если так уж сложилось, нужно, хочешь не хочешь, вспоминать о своих корнях, перебираться из городских платьев и туфель в рваные кофты и обтрепанные юбки, забывать никому теперь не нужные жестокие романы и учиться испытанной веками приговорке: «Да-а-ай, брильянтовая, погадаю, позолоти ручку...» Но Дина за полгода, проведенные в кочевье, так и не смогла вымучить из себя ничего подобного. Цыгане над ней не смеялись – скорее жалели. Все знали, что на глазах у Дины застрелили отца, что через несколько дней после этого, уже в таборе, она чуть не умерла от тифа, что, проболев больше месяца и едва начав подниматься, тут же простудилась и схватила пневмонию. До самой весны цыгане не давали ломаного гроша за жизнь девушки. Но Мери, окончившая в свое время фельдшерские курсы, настояла на том, чтобы Дину отвезли в больницу, потом всю зиму ухаживала за умирающей подругой и в конце концов поставила ее на ноги. Сама Мери была уверена, что выздоровление случилось бы быстрее, если б Дина хоть чуточку цеплялась за жизнь. Но та, подкошенная известием о смерти Зураба, гибелью отца, мечтала лишь об одном: поскорее умереть. Мери, хорошо знавшая, до чего может довести человека беспросветное отчаяние, старалась не спускать с подруги глаз. И, наверное, поэтому заметила то, чего не увидел ни один человек в таборе, не углядела самая любопытная цыганка: то, что на Дину положил глаз Митька Мардо.

Вспомнив о Митьке, Мери судорожно передернула плечами. Даже сейчас, когда Мардо уже давно не жил в таборе, она чувствовала смертельный страх при воспоминании о нем. Хотя, наверное, ничего страшного не было в этой скуластой, загорелой, испорченной шрамами физиономии с недоверчивыми глазами, да и вел себя в таборе Митька всегда прилично. Цыгане его не любили, называя бандитом, на что Мардо ничуть не обижался. В таборе, несмотря на то что там жила его жена, он появлялся два-три раза в год и, по уверениям тех же языкатых цыганок, не имел ничего против того, чтобы Юлька нашла себе нового мужа. Копченка, впрочем, казалась вполне довольной своим положением и подмены Митьке не искала. Похоже, она его любила, и цыгане искренне вздыхали: «Ведь какая золотая баба зазря пропадает! Одна табор народу прокормить может, добисарка такая, что посреди лета телегу снега добудет, а вот поди ж ты, Митьке этому непутному досталась! И что она в нем выискала-то?!»

Когда Митька в очередной раз надолго пропал из табора, никто этому особенно не удивился. Цыгане считали, что в грянувшей над страной заварухе ничего не стоит сгинуть и хорошему человеку, а уж такого, как Мардо, всегда найдется кому отправить на тот свет. Никто не знал, как Митька оказался у комиссаров, как этот неграмотный вор попал в ЧК, чем он занимался там: сам Мардо молчал. Но именно Митька спас Дину и ее мать, расстреляв из нагана трех солдат и красного комиссара, явившихся арестовать цыган с Живодерки за сокрытие белогвардейского шпиона. И, понимая, что в ЧК ему больше делать нечего, вернулся в табор. Но Мери видела, чувствовала: в таборе Мардо – из-за Дины.

До сих пор Мери проклинала себя за то, что никому ничего не сказала. Но что было говорить, если никто, кроме нее, не замечал этих Митькиных взглядов? Если даже Копченка, готовая разорвать на части любую, посягнувшую на ее мужа, не видела ничего? Если только она, Мери, случайно застала однажды ночью Митьку посреди спящего тифозного барака, возле постели подруги? Дина спала, она даже не услышала шагов, она ничего не знала. А Митька, перед тем как покинуть барак, спокойно и холодно пообещал перепуганной Мери: «Скажешь кому – в Чеку сдам, княжна недобитая». Заглянув в его сощуренные недобрые глаза, девушка поняла, что он так и сделает.

«Видит бог... – прошептала Мери, сжимая кулаки и запрокидывая голову к черному небу, с которого смотрели зеленоватые, низкие южные звезды. – Видит бог, если бы я знала...»

Да, если б ей только в голову могло прийти, что сделает Мардо... Тогда бы она не побоялась и ЧК, прибежала бы к деду Илье, а лучше – к бабке Насте, и рассказала бы все, что видела... Но Мери и подумать не могла, не могла даже вообразить... Однако тем страшным

весенним утром, когда Семен, ее Сенька, ее Демон, вместе с растерзанной, заплаканной Диной вошел во двор цыганского дома и спокойно объявил о том, что этой ночью он взял Динку замуж, девушка сразу поняла, что случилось. И ни на минуту, ни на миг не поверила словам парня. Потому что твердо знала: Сенька – не мог.

Мери усмехнулась сквозь слезы, вспомнив вдруг о том, как однажды, еще в Москве, она спросила у Дины: какой самый-самый главный, самый важный цыганский закон? Подруга пожала плечами, подумала – и насмешливо усмехнулась: «Самое важное? У наших-то? Что люди скажут, милая моя, – вот закон главный!» Тогда Мери решила, что подруга шутит, и даже немного обиделась. Но, прожив полгода с кочевыми цыганами, убедилась: так оно и есть. Мардо, который изнасиловал Дину, при этом по-своему ее любил и, скорее всего, был намерен жить с ней как с женой. Но когда узнал, что Дина нечиста, что она уже была с другим мужчиной, его серьезные намерения растаяли как дым. Брать себе в жены чужую шлюху Мардо не хотел. Семен, взяв на себя Митькин грех, спасал не только Дину – спасал честь всего рода, в котором до сих пор не было такого позора: бесчестной невесты. Мери не знала, каким способом Семен убедил Митьку молчать о случившемся. Мардо не проболтался: все цыгане были уверены, что Динку «пробил» Сенька – «пробил» против ее воли свою же двоюродную сестру. Там, во дворе, Мери видела хмурые, озадаченные лица цыган, слышала, как кричат, проклиная Сеньку, цыганки, как рыдает мать Дины. Сердце Мери разрывалось от боли и несправедливости, но она понимала: сделать ничего нельзя. «Что люди скажут?..»

Тем же вечером, встретившись с Мери, Семен рассказал ей все, ну, или почти все. Девушка уже знала: для цыган мало того, что Дина вышла замуж за Сеньку, она еще должна была какое-то время, хотя бы полгода, пожить с ним. Никто не ждал ничего хорошего от этого брака, все понимали, что молодые супруги скоро разбегутся... Но это «скоро» нужно было выждать. Лишь потом Дина могла устраивать дальше свою жизнь, не опасаясь того, что ее станут называть потаскухой и упрекать в том, что она «на полчаса в кусты замуж сбегала».

– Я подожду, – пообещала Сеньке Мери, не замечая ползущих по лицу слез. – Подожду, сколько нужно будет. Дина мне как сестра, я за нее душу отдам, она... она же моего брата вдова!

– Знаю, – спокойно ответил Сенька, и у Мери уже сил не было спрашивать, откуда ему это известно...

Они обнялись тогда в последний раз, стоя на косогоре под порывами ночного ветра, а сверху сквозь обрывки черных облаков на них смотрела ехидная белая луна.

На другой день табор тронулся в путь – привычной дорогой к югу, через степи. Мери взяли в свою палатку Илья и Настя, дед и бабка Сеньки, чему девушка была несказанно рада. Эта пара стариков понравилась ей в первые же дни жизни в таборе. Весь табор, больше ста человек, больших и маленьких, оказался их семьей: детьми, невестками и зятьями, племянниками, внуками и правнуками. Смотреть на эту цыганскую чету Мери могла бесконечно, отчаянно жалея, что не обладает даром Репина или Крамского. Дед Илья, высокий, с широкими плечами, сильный, несмотря на годы (ему ничего не стоило расшвырять начавших драку молодых парней или сдерживать в поводу вскинувшегося жеребца), с некрасивым, коричневым от загара лицом, разговаривал мало, но от одного взгляда его черных, мрачноватых, чуть раскосых глаз из-под сивых сросшихся бровей в таборе мгновенно стихали самые головокружительные скандалы. Его внушки рассказали, что в юности дед был лихим конокрадом и бросил это дело лишь после того, как увез из московского хора первую солистку, красавицу Настю. В том, что бабка Сеньки была красавицей, из тех, что рождаются одна на миллион, Мери не сомневалась ни минуты. Стоило лишь увидеть статную, стройную до сих пор фигуру старой цыганки, ее спокойное, загорелое лицо, тонкие брови, тяжелые, выбеленные сединой косы, огромные, черные, по-молодому ясные глаза. Семен казался точной копией деда, но глаза у парня были бабкины, и, глядя на стариков, Мери видела в них обоих отражение своего Сеньки. Илье и Насте, похоже, тоже нравилась Меришка. Илья почти не разговаривал с ней, но всегда улыбался, когда

девушка подавала ему миску с едой или уголек для трубки. А Настя и вовсе не отпускала маленькую княжну от себя, таская за собой по деревьям и хуторам, уча гадать и выпрашивать куски, готовить на костре, стирать в реке, перешивать выпрошенные лоскуты в одежду для всей семьи – всему, что должна уметь кочевая цыганка. И Мери понимала: Настя знает о том, что начиналось между ее внуком и чужой девочкой. И отношение старухи-цыганки радовало ее, добавляя уверенности и надежды на то, что все когда-нибудь наладится. Настя однажды сказала Мери:

– Ты, девочка, главное, ничего не бойся! Никогда ничего не бойся! Я, когда в табор пришла, еще хуже, чем ты, неумеха была! Ничего не знала, ничего не умела! Вроде Динки вот нашей, одни только романсы в голове были, а кому они посреди степи нужны-то?.. И ничего! Выучилась! Мне, правда, тем полегче было, что я мужней пришла и все-таки цыганкой родилась. Илья меня в обиду никому не давал. – Она вдруг широко улыбнулась, показав молодые, крепкие и белые зубы. – Первое дело – парней гоняй, они, ироды, на тебя мухами слетятся! Не подпускай! Если за цыгана замуж хочешь – гоняй! Знаешь как?

– Знаю! – лихо ответила Мери. – Сразу кулаком в нос!

Настя от души рассмеялась.

– Ох ты, храбрая какая, гусар, а не девка! А сумеешь?

– Я... я постараюсь...

Случай вскоре представился.

Была уже середина весны. Цыгане стояли табором возле большой дороги на Ростов, и однажды вечером, прибежав из станицы, Мери чудом не споткнулась о храпящую в траве Таньку – молодую невестку из соседнего шатра. Устроив с утра большую стирку, девчонка так измучилась, что заснула мертвым сном прямо в примятой молодой траве. Большой куст лозняка у обочины был весь обвешан отжатым бельем. Рядом лежало пустое ведро. Мери обеспокоенно подумала о том, что Танька, позабыв притащить воды на всю семью, наверняка получит теперь кнута от мужа. Будить девчонку она не стала и, схватив ведро, помчалась к реке сама.

Возле берега было тихо, над кустами столбиками плясали комары, изредка плескала хвостом рыба, разбивая розовый блеск на воде. Мери, придерживая руками косы, нагнулась, погрузила в реку ведро... и почувствовала вдруг, как чьи-то руки ложатся на ее талию.

Первым ощущением была острая, чуть не остановившая сердце радость. «Сенька!..» – чудом удержала Мери вскрик, стремительно оборачиваясь. И... выронила ведро, увидев перед собой улыбающуюся физиономию Васьки – одного из многочисленных внуков Ильи.

– Те... тебе чего?

– Тяжело воду нести, княжна? – весело осведомился Васька. – Подмогнуть?

– Не стоит, я сама, – мрачно буркнула Мери, хватаясь за ведро и отчаянно гадая в глубине души: успел или не успел мальчишка увидеть проблеск улыбки на ее лице.

Оказалось, что успел.

– А что ж ты сразу потухла? Кого другого ждала?

– Таньку ждала, обещала прийти. – Мери снова торопливо зачерпнула воды. – Дай пройти, пожалуйста.

– Куда торопишься? Сказал же – подмогну.

Васька не отходил, нахально улыбался ей в лицо, шурясь против садящегося за спиной Мери солнца. И она с ужасом поняла, что вот сейчас и придется проделать это самое «кулаком в нос». Отчаянно надеясь, что, может быть, обойдется, Мери еще раз попросила:

– Уйди, пожалуйста, чаворо.

– А ты обойди, дорога широкая! – еще шире ухмыльнулся Васька, непринужденно притягивая княжну к себе. И она поняла, что дипломатические переговоры закончены. Зажмурившись, Мери обеими руками изо всех сил толкнула Ваську в грудь. Не удержавшись на скользком суглинке берега, мальчишка шлепнулся на мелководье. Мери схватила ведро. Набирать

воду теперь было некогда, а значит, Таньку ждала неминуемая трепка. Окончательно расви-репев от этой мысли, Мери с размаху надела ведро на голову Ваське ихватила сверху кулаком. Гул пошел по всей реке, а девушка, яростно выругавшись: «Мама-дзаглэ<sup>24</sup>!!!», бегом кинулась к табору. В спину ей вдруг ударил такой оглушительный многоголосый хохот, что тут же стало понятно: в прибрежных кустах сидел еще целый взвод молодых паршивцев, ожидая, чем кончится дело у Васьки с раклюшкой.

А у палаток уже вовсю визжала Танька:

– Ай, Петька, не знаю, где ведро! Ай, не знаю, где вода, принесла, ей-богу, принесла! Ай, хватит, кофта новая, порвешь в лоскутья! Ай, уже!!! Ай, не надо!

– Петя, Петя, подожди, ради бога, это я виновата!!! – завопила Мери, кидаясь к мужу Таньки. – Петя, она принесла, это я ваше ведро нечаянно опрокинула!

– И где оно? – мрачно спросил Петька, опуская кнут, в то время как Танька кубарем откатилась за палатку и уже там басом взревела на весь табор.

– Утопи-и-ила... – Губы Мери задрожали, и она вдруг завывла не тише Таньки, всхлипывая и размазывая слезы по лицу.

– Тьфу, дуры бестолковые... – сплюнул Петька, в сердцах запихивая кнут за пояс. – Идите, говорю, вылавливайте, не то обе получите у меня! Полна палатка бабья, а попить не сыщешь!

За шатром Мери в двух словах рассказала всхлипывающей Таньке о случившемся. Потом они дружно утешали друг дружку, ругая и Ваську, и Петьку, и других мужиков вместе с ними. Потом Танька уверяла Мери, что Васька хоть и дурак, но ничего плохого, ей-богу, не хотел, думал только пошутить, а Мери, в свою очередь, убеждала Таньку, что ее муж не злее всех в таборе, просто какому же цыгану понравится, когда жена дрыхнет, а воды нет... а другие-то и вовсе ни за что семь шкур со своих баб спускают... Потом они вдвоем отправились на берег искать злополучный сосуд, которого там, разумеется, не нашлось. Потом Танька носилась по всему табору, одалживая новое ведро. Когда же вода наконец была принесена, ужин – сварен, семья – накормлена, самовар – поставлен, а над табором поднялась большая желтая луна, к палатке явилась семилетняя Васькина сестренка с пустым ведром. Малявка молча, с выпяченной нижней губой, прошествовала к шатру, бухнула ведро возле костра, поклонилась Илье и Насте и, не сказав никому из сидящих за самоваром ни слова, с достоинством удалилась. Танька с Мери переглянулись – и расхохотались. Вслед за ними негромко рассмеялась Настя. За ней зашлась дробным хохотом Копченка у соседнего шатра. Улыбнулась даже Дина, которая, стоя на коленях возле своей палатки, безуспешно пыталась раздуть угли погасшего костра. Мери осторожно скосила глаза: она знала, что там, рядом с шатром, сидит Сенька. Не видя, чувствовала: смотрит, смотрит на нее... И так и не решилась повернуться.

Три дня табор на разные лады вспоминал, как ловко раклюшка надела Ваське на голову ведро, а на четвертый к шатру Насти и Ильи пришла Васькина мать. Они с Настей долго и сосредоточенно совещались о чем-то до самой темноты. А когда солнце село, оставив после себя пылающую багровую полосу на закате, Настя подозвала к себе княжну.

– Девочка, знаешь, зачем Лукерья приходила?

– Обиделась, может быть? – испуганно предположила Мери. – Тетя Настя, я, честное слово, ничего такого не...

– Она спрашивала, можно ли тебя за Ваську сватать. – Черные глаза старой цыганки смотрели в упор, казались в темноте еще больше. – За Ваську своего тебя взять хочет. Не пойдешь ли?

Растерянная Мери молчала. Настя ждала – тоже молча. Наконец из потемок ярко блеснули зубы: старуха-цыганка беззвучно рассмеялась.

---

<sup>24</sup> Сукин сын (груз.).

– Да ты что перепугалась так? Коли не хочешь, кто ж тебя насильно отдаст? Ну, отвечать, что невеста молода еще?

– Да, скажи так, пожалуйста, тетя Настя... – пролепетала Мери. – Я, ей-богу, совсем замуж не хочу...

Настя перестала улыбаться.

– За Ваську не хочешь, девочка? Или вовсе за цыгана не хочешь? Не бойся, говори как есть. Мне знать надо! К нам с дедом, боюсь, теперь стадами сваты-то ходить будут.

– За Ваську не хочу. – Мери благодарила темноту вокруг. Язык едва слушался, собственный голос казался чужим.

Рука Насти слегка сжала ее локоть, и через мгновение старой цыганки уже не было рядом. А Мери повалилась лицом в теплую, пахнущую полынью и дымом подушку и разрыдалась, думая о том, что у нее уже нет никаких сил, что ей не быть вместе с Сенькой еще полгода, а может, и год, и неизвестно еще, что там случится потом, через этот год... Но делать было нечего: приходилось только ждать.

Еще одним несчастьем, свалившимся на табор, стала смерть матери Дины. Дарья, подкошенная гибелью мужа, бегством из Москвы, насилием над дочерью, не выдержала. Зимой она еще кое-как крепилась, ходила с цыганками по деревням, просила куски, но, когда весной случилась невеселая свадьба Дины с Семеном, Дарья сдала окончательно. Месяц она протряслась вместе с табором в телеге – почерневшая, высохшая, утратившая всю красоту, с потухшими, глубоко запавшими глазами, со сжатым в скорбную линию ртом. Гадать Дарья больше не ходила, целыми днями сидела у потухших углей, глядя в небо и не шевелясь. А потом в один из вечеров вдруг легла на перину в своей палатке – и больше не встала.

Дина кричала на похоронах так, что крестились от испуга даже все перевидавшие старухи-цыганки: выла в голос, стоя на коленях и вцепившись пальцами в волосы, бессвязно и отчаянно. Цыгане боялись подходить к ней: не решились ни братья, ни муж, ни даже дед с бабкой. Лишь после поминок, когда табор накрыло темнотой, к шатру, где лежала ничком на перине измученная Дина, пробралась Мери. У входа сидел Сенька. При виде девушки он молча встал, скрылся в темноте, и Мери тенью проскользнула в палатку.

– Дина... Диночка... Это я! Диночка, ты спишь?

– Нет... – послышался хриплый, изменившийся от рыданий голос. – Меришка, боже, как хорошо, что ты пришла... Сядь со мной...

Мери послушно присела рядом.

– Ты молодец, ты можешь держаться... – Мокрая от слез ладонь Дины сжала ее руку. – Ты ведь тоже сирота... живешь среди чужих... и держись. А я вот не могу... Мери, Меришка, ведь это все из-за меня! Из-за меня одной! И отец! И мать!

– Ты что, с ума сошла?! – вскричала яростным шепотом Мери. – Что ты выдумала, право, Дина?! В чем ты виновата?!

– Во всем! Во всем, господи... Отца этот комиссар застрелил, оттого что я с ним пойти не хотела! Отец меня защищал, а я... я могла бы...

– Что ты могла бы, дура?! – выругалась, не стерпев, Мери. – Пойти с этим Шукиным?! Чтобы Яков Дмитрич потом сам от позора застрелился?! И тетя Даша за ним следом?!

– И мама! И мама! Если бы я... Если б не Мардо... Я могла бы... То есть не могла... Я ведь, боже мой, дура такая, маме рассказала обо всем!

– Господи милосердный... – растерянно прошептала Мери, наугад в потемках осеняя себя крестом. – Ты... Дарье Ильинишне...

– Да! Все рассказала на другой же день! И бабке тоже! Я слышать не могла, как цыгане Сеньку клянут, а он... боже, если бы не он, что б со мной было, что бы со всей семьей стало?! А у бабки с дедом он вовсе свет в очах, как же я могла... Как я могла, чтобы о нем они такое думали...

– Так Дарья Ильинишна знала... И тетя Настя знает... – задумчиво произнесла Мери.

– Да! Я сама им... все как есть... и про Зурико... Зачем, господи, зачем? – Мама, может, сейчас жива была бы! О-о-о, как же мне теперь жить, Меришка, боже, ка-а-ак...

– Жить как люди живут! – отрезала Мери, гордо выпрямляясь в темноте и отчаянно надеясь, что Дина не заметит, как дрожат у нее губы и руки. – И перестань молоть ерунду, ты ни в чем не виновата! Так ведь можно до чего угодно договориться! Может, ты уже жалеешь о том, что брату моему женой была?

– Нет, – неожиданно спокойно отозвалась Дина. – Об этом и в гробу не пожалею. Мне даже страшно иногда, Меришка, но... но я все еще его люблю. Зурико на свете нет, а я его люблю. Никогда себе не прощу, что не поехала за ним тогда.

– Дина, что ты несешь! Куда – за ним?! На фронт?! На позиции? С шашкой наголо биться с красными?!

– Ну и что?! Как будто мало женщин это делали! А я...

– Зурико никогда не принял бы такой жертвы!

– Знаю! Я должна была ехать тайно! И оставаться с ним до конца, а я...

– А у тебя, слава богу, хватило ума подумать о родителях! И уж поверь, женщине не место на войне! Много радости было бы Зурико трястись там за тебя! А если б тебя убили вперед него?! Или не убили, а сделали еще хуже?.. Что бы с ним стало после этого, ты не думала?! Хватит, хватит, Дина! Ничего исправить уже нельзя! Не мы вольны в жизни и смерти, это бог...

– Бог совсем о нас забыл, – горько сказала Дина.

Послышался шорох одежды: она села, обхватила руками колени. В прореху шатра неожиданно заглянула луна, и Мери увидела проявившийся в голубоватом луче профиль подруги с мокрой дорожкой слез на щеке. Потянувшись, Мери вытерла ее.

– Не плачь. Тете Даше теперь лучше, чем нам здесь. Она там вместе с дядей Яковом... и им хорошо. И моя мама тоже рядом с отцом. И Зурико там, с ними. Они ждут нас... и мы придем к ним в свое время... но не раньше. Не раньше! Ты понимаешь меня?

Дина молча кивнула и закрыла лицо руками. А Мери снова подумала о том, что, выходит, Дарья Ильинишна знала обо всем. Знали и тетя Настя, и дед Илья. Горячая волна радости подступила к сердцу, мешая вздохнуть. Значит, самые близкие не думают плохо о Сеньке... Боже, какое счастье! Как правильно, как верно поступила Дина!

– Ты умница... – прошептала Мери, обнимая подругу. – Не мучайся, потому что ты все правильно сделала. Цыгане пусть думают что хотят, но твоя мать... и дед с бабкой... они должны были знать. А Сенька?.. Ты ему-то сказала?

– Да.

– И что он?..

– Сказал, что глупая... – Дина, слабо улыбнувшись, повернулась к Мери. – Слушай, я ведь Сеньку всю жизнь знала, с детства, а мне и в голову не приходило, что он – такой...

– Ты... уже полюбила его? – осторожно спросила Мери. Сердце, похолодев, вдруг остановилось на миг.

– Кого – Сеньку?.. – озадаченно переспросила Дина. И тут же взвилась: – Да какая ты, бог мой, ду-у-ура!!! Тьфу! Совсем рехнулась! Да он же мне брат! А ты что подумала? Ты что, несчастная, подумала?! Что ты себе в голову взяла?! Я – и Сенька?! Да пусть наши что угодно думают, но ты-то лучше других все знаешь! И кого он любит, знаешь! Да чтобы я... своему же брату... И сестре... Ты же мне сестра, курица проклятая, я для тебя сердце из груди ножом вырежу, и чтобы я... Все, пошла отсюда прочь, видеть тебя, бессовестная, не могу! Сумасшедшая, нашла о чем спрашивать...

– Диночка, прости-и-и!!! – заголосила Мери, обнимая ее. И через минуту обе ревели в объятиях друг дружки, захлебываясь и причитая наперебой по-цыгански, по-русски и по-грузински. И остановил их только задумчивый голос Семена снаружи:

– Чьялэ, мне канавку выкопать или как? Весь шатер зальет ведь к утру...

– Пошел вон! – дружно завопили подруги. И заснули в обнимку на старой перине, прямо под лунным лучом, сеющим сквозь прореху серебристый свет.

А наутро табор тронулся в путь – привычной дорогой через степи на Ростов. Дорога оказалась спокойной, уже не слышалось ни шума боев, ни стрельбы. Добровольческая армия была вдребезги разбита на Кубани, в конце апреля остатки белых полков спешно эвакуировались через Новороссийск в Крым, чтобы продолжать борьбу, уже для многих очевидно бесполезную. Цыгане всего этого не знали и только радовались тому, что, слава богу, никакой пальбы над головами больше нет. По станицам уже всюю устанавливалась советская власть. В табор даже приходили агитаторы, которых цыгане приняли со всем почтением, вежливо выслушали, заверили, что для них ничего лучше товарища Ленина, товарища Троцкого и мировой революции и быть не может, и на следующий день снялись с места: «от греха подальше».

Ехать в Крым, где раньше они никогда не кочевали, цыгане решили неожиданно: после того как встретились посреди ростовской степи с табором котляров. Те сидели в своих круглых, крытых полотном кибитках счастливые сверх меры, а за табором бежал огромный табун прекрасных лошадей. Как водится, тут же обнаружили общие родственники: глава котлярской семьи приходился кровным братом покойной бабке Дины по отцу. Котляры рассказали, что едут из Новороссийска, откуда весной в страшной суматохе отходили пароходы с солдатами и офицерами Добровольческой армии. Оставленные белой кавалерией лошади, брошенные где попало: на дорогах, на улицах города, прямо в порту, – были никому не нужны. Котляры мгновенно сообразили, что к чему, и, убедившись, что кони действительно ничьи и за их присвоение цыганам ничего не будет, переловили бесхозную скотину и на всякий случай поспешно уехали из города.

– Надо бы и нам тоже! – вечером дружно гудели цыгане, собравшись возле костра деда Ильи. – Авось там и на нас хватит, вон кастрюльщики-то в барыше каком! Поспешить бы, ромалэ?

– Дурачье... – бурчал Илья, ероша кулаком бороду и яростно грызя чубук трубки. – Да куда мы до этого Новороссийска доберемся, уж война вовсе закончится! И все кони не цыганские, а красные будут!

– А может, успеем еще, чавалэ<sup>25</sup>, а? – В глазах цыган светилась надежда. – Давайте поедем, чего нам в Ростове делать-то? Там чичас красные... они у нас и тех коней, какие есть, отберут, помните, как взапрошлогодь-то?

– Ха, морэ! Взапрошлогодь-то как раз не красные, а белые отбирали!

– Да что ты мне голову забиваешь, золотой мой?! Что я, на четвертом десятке красных от белых не отличу?! Да разбей меня бог! Вот и люди скажут! Чаворо, эй! Сенька! Кто отбирал – красные аль белые? Зеленые?... Какие зеленые?! Тьфу ты, господи прости, раньше все люди как люди были, а теперь что?! Как редиска в огороде – красная, белая да зеленая...

Сошлись на том, что хрен редьки не слаще и белые красных не лучше, отобрать коней по нынешним временам может кто угодно, а вот найти и взять ни за грош табун новых – это, дорогие мои, не каждый день цыганам удается. Окончательное решение приняли после того, как вспомнили, что в Крым «за господами» в восемнадцатом году уехала добрая половина хора Якова Дмитриева. «Вот и с родней, может, перевидаемся!» – обрадовались цыгане и договорились прямо утром поворачивать оглобли в Крым.

Погода стояла ясная и сухая, дни были долгими, июньскими, телеги споро катились по убитой дороге, и ничто, казалось, не предвещало беды, но неожиданно уже на подъезде к Крыму, возле хутора Безместного, цыгане попали в настоящий бой. Именно в эти дни Доб-

<sup>25</sup> Ребята (цыганск.).

ровольческая армия, командование над которой принял генерал Врангель, начала свое наступление в Северной Таврии.

Все случилось в полдень: табор просто встал посреди дороги, встревоженный тяжкими ударами орудий и свистом шрапнели. Испуганные лошади принялись рваться из упряжек, несколько телег перевернулось, заревели дети, мужчины начали лихорадочно совещаться, что делать, куда бежать, – и на полуслове попадали на землю от нового яростного грохота пушек. Оглушенная Мери не сразу поняла, что это Сенькин крик перекрывает визг, вой и гром: «Ромалэ, дед, к балке надо!»

Сенька, который один из всего табора побывал на войне, первым пришел в себя и, не давая людям удариться в панику, принялся разворачивать дрожащих лошадей к видневшейся недалеко, заросшей лозняком балке. Другие мужчины, опомнившись, кинулись ему помогать, цыганки схватили детей, упавшие узлы и помчались впереди телег. Вскоре весь табор сидел на дне узкого оврага, по которому бежал тонкий ручеек воды, и с ужасом прислушивался к происходившему наверху. Между двумя батарейными залпами Мери услышала, как совсем рядом бурчит дед Илья:

– К чертовой матери... Все с ума походили... Возвращаться надо!

– Куда, морэ?... – осторожно поинтересовался кто-то из мужиков. – Там, сзади, как раз и грохает...

– Так и спереди грохает! И справа, и слева! И сверху тож! – взорвался Илья. – Тьфу, попали как кур во щи, петушки ваши головы, и я, дурак распоследний, вас послушал! Что делать-то теперь? Эй, ты там, вояка! Сенька! Ползи сюда! Куда ехать-то? В Крым дале аль назад, до Смоленска?

Мери не сомневалась, что возвращаться будет еще опаснее, чем продолжать путь. Видимо, так же решили и взрослые цыгане. К вечеру, когда в овраге сгустились сумерки и робко, по одной, засвистели испуганные птицы, Сенька уполз на разведку. Вернулся он уже не на животе, а на ногах, съехал в овраг и объявил, что наверху тихо, бой окончен и можно потихоньку выбирать.

– Только, ромалэ, там не очень хорошо, вы особо по сторонам не глазейте. Детям смотреть не давайте, – сумрачно предупредил он и, ни на кого не взглянув, начал быстро, цепляясь за ветки лозняка, выбирать наверх. У Мери тревожно заболело сердце; подхватив на руки двухлетнего правнука Насти, девушка вместе с другими полезла из балки к вечернему розовому небу.

Что имел в виду Сенька, стало ясно сразу же, как только цыгане выбрались наверх. Большое поле, пересеченное дорогой, было изрыто шрапнелью, под ногами у цыган валялись осколки, где-то дымилась, догорая, сухая трава, черная пыль загораживала край падающего за степь, красного, словно раскаленного на наковальне солнца. И повсюду в траве лежали мертвые люди и лошади. Первой заорала не своим голосом Копченка, чуть не наступив на труп молодого солдата с очень спокойным бледным лицом... и без ног. Тут же хрипло чертыхнулся Илья, споткнувшийся о те самые ноги, лежавшие в пяти шагах. Отчаянно завизжал кто-то из детей; цыганки, плача и причитая, принялись хватать на руки самых маленьких. Дина с белым окаменевшим лицом шла молча, но ее пальцы стиснули локоть Мери так, что та невольно морщилась от боли. Цыгане сбились в плотную кучу и, стараясь не отставать друг от друга, торопливо зашагали к дороге. Нужно было еще как-то ловить разбежавшихся от пальбы лошадей.

Переночевали прямо на дороге, не разбивая шатров, не зажигая огня и готовясь с первыми лучами солнца искать лошадей и трогаться в путь. Никто не сомкнул глаз: цыгане боялись заснуть рядом с покойниками. А наутро, лишь только посерело небо, из тумана прямо рядом с табором бесшумно вынырнули десятка полтора фигур с лопатами и вилами.

– А-а-а, хасиям, мулэ явнэ!!!<sup>26</sup> – завершала задремавшая было Райка. За ней завизжали с перепугу и другие девчонки, но их заставил замолчать взвившийся кнут Ильи.

– Сдурели?! Пигалицы! Мертвых они испугались! Чего людей полошите попусту?! Живых бояться надо! Никакие это не мулэ...

– Живые мы, цыгане, живые, не пугайтесь, – мрачно произнес один из подошедших, сухой, загорелый и жилистый дед в казацкой фуражке без кокарды. Опершись на лопату, он осмотрел прищуренными глазами толпу цыган. – Это ваши, что ль, кони по всему степу рассыпались?

– Знамо дело, наши, – осторожно подтвердил Илья. – А вы откуда будете, уважаемые?

– Да вон... с хутору. С Безместного, стало быть... – Старик хмуро осмотрел седое, затянутое рассветным туманом поле. Спутники деда подошли ближе, и цыгане увидели, что это – женщины. Несколько молодых казачек, две старухи, скрюченные и опирающиеся на вилы, и стайка дрожащих от озноба и испуга девчонок.

– Вот что, цыгане... – покряхтев, сказал дед. – Сами, мабуть, видите, что за несчастья тут вчера приключилась. У нас весь хутор от пальбы трясся, нос на баз высунуть боялись. А опосля бою вылезли в степь, а тут... Ступить некуда от мертвых! Сами гляньте! А нам тут жить ишо! И по полю этому ходить, скотину сюда, какая ни осталась, гонять, а как же теперь?.. То есть, хочешь не хочешь, хоронить надо. Мы с вами чем ни есть поделимся, а вы нам пособите. Сами видите – бабы да девки, много ль они нахоронют?.. Казаки-то все на войне.

– Вона, вздумал чего, старый! Еще будем мы ваших покойников таскать! – возмущенно заголосила одна из цыганок, но Илья, не повернувшись, махнул на нее рукой, и крикунья захлебнулась на полуслове.

– Ладно, дед, пособим. Только и вы уж нам помогите лошадей-то согнать. Мы тут у вас ни разу не стояли, места не знаем. Куда эти проклятые поразбежались?

– Мы знаем, дядя цыган, мы покажем! – тут же вскинулись юные казачки, которым, видно, тоже не улыбалось стаскивать в ямы мертвых, и пустились босиком через перепаханное снарядами поле. За ними вдогонку помчались цыганские дети. На оставшихся Илья посмотрел тяжелым взглядом и первым, сдвинув брови, шагнул в туманную степь. За ним нехотя тронулись и другие цыгане.

Провозились целый день. Старый казак был прав: жители крошечного, в пять дворов, хутора Безместного сами нипочем не осилили бы эти похороны. Полдня цыгане копали песок и суглинок, расширяя заброшенный карьер в стороне от дороги. Казачки и цыганки тем временем, плача и ругая всех сразу: царя, коммунистов, белогвардейцев, бога, черта и жаркую погоду, – бродили по степи, стаскивая на наспех связанные из досок носилки покойников и сгружая их на телеги. Цыганские лошади испуганно косились на мертвых, но покорно подвозили телеги к карьеру, куда и сбрасывали всех вповалку.

– Свят господи милосердный... Как скотину, людев-то кидаем... – сокрушался старый казак, осматривая каждый труп и засовывая в обширные карманы галифе обнаруженные документы, письма, затертые образки. – Я уж опосля авось удосужусь по семьям-то ихним отписать... Гли-ка, цыган, вон с орденом кого-то тащат! Поди, целый полковник!

– По мне, хоть енарал! Осточертело! – остервенело пыхтел Илья, вместе с внуком хватая за ноги не то полковника, не то генерала и волоча его к яме. – Буду я еще их тут по чинам раскладывать... И что вы себе за счастье выдумали, дед, а?!

– Не мы... Начальство... Наше дело казацкое... Велят – воюем... – уныло бубнил дед, снимая с френча покойника орден. – За веру, царя и отечество испокон веку в атаку ходили...

– Да?! И где он, царь ваш? И отечество?! – сверкнул злыми глазами Илья, вытирая пот со лба. – Уж не осталось ничего, а вы все воюете! Тьфу! Сами не живут и другим житья не дадут...

<sup>26</sup> Пропали мы, мертвецы пришли!!! (цыганск.)

Сенька, где ты там встал, проклятый?! Берись! Перетухнут у нас эдак все ихние енаралы! Вон как солнце-то пекет! Последний у тебя там? Давай сюда и разворачивай, бабы ждут!

– Обожди, дед, – вдруг проговорил Сенька, наклоняясь к последнему покойнику, криво лежащему поперек телеги. – Вот этот, кажись, дышит.

– Чего?! Приблизилось тебе, от жары чудится! Куда уж тут дышать-то...

Но Сенька уже орал во все горло, призывая цыганок:

– Эй! Чаялэ, кто там есть! Воды принесите! Живо!

Примчалась Дина с ведром и бухнула его у ног мужа. По ее измученному, осунувшемуся лицу бежали струйки пота, волосы прилипли к вискам.

– Зачем вода? Что случилось? – встревоженно спросила она.

Сенька не ответил, пристально смотря на раненого. Дина, проследив за взглядом мужа, шагнула к телеге... и тут же отпрянула.

– Сенька... Это же... это, кажется, комиссар!

– Тьфу, какая тебе, дура, разница?! – выругался Илья.

Сенька ничего не сказал. Наклонившись к раненому, он осторожно расстегнул его простреленную, хромовую, нестерпимо сияющую под полуденным солнцем куртку, осмотрел бурую от крови рубаху, взглянул в лицо. Вполголоса, негромко спросил:

– Товарищ Рябченко... Григорий Николаевич... Вы слышите меня?

Раненый не пошевелился. Его бледное до синевы, острое, осунувшееся лицо было запрокинуто, из обметанных жаром губ вырывалось чуть заметное дыхание. Левая рука судорожно сжимала рукоятку нагана. Сенька, нагнувшись, попытался освободить револьвер – не вышло.

– Знаешь его? – подойдя, коротко спросил Илья.

Семен молча кивнул. Не глядя на Дину, произнес:

– Его в тень надо.

– Сейчас, – так же глухо, не поднимая глаз, ото-звалась та. – Заверни коня, подвезем к телегам.

– Напрасно вы это, цыгане... – глубокомысленно заметил старый казак. – Не жилец комиссар-то. Вон сколько кровичи из него за ночь да полдня вытекло. На той, что осталась, долго не протянет. А тебе, парень, он, стало быть, знаком?

Сенька, помедлив, коротко кивнул, отвернулся и принялся заворачивать лошадь. Жестом он велел Дине сесть на телегу рядом с раненым.

– Голову ему держи.

Дина молча полезла на телегу, но Мери, взглянув в лицо подруги, всерьез испугалась, что та упадет в обморок. Однако все обошлось: Дина доехала вместе с комиссаром до таборных телег, раненого аккуратно перенесли на перину под наспех растянутый шатер, а там беднягой занялись пожилые цыганки. Дина же умчалась за палатку, к Мери, и только там, кинувшись в объятия подруги, разрыдалась:

– Господи, зачем? Зачем?... Зачем Сеньке это понадобилось, можешь ты мне сказать?! Комиссар! Коммунист! Господи, да что ж он не сдох с остальными, и зачем Сеньке на глаза попался! Да я ведь теперь прикоснуться к этой перине не смогу! Чтоб ему до заката не дожить, тьфу!

– Дина, Дина, господь с тобой, что ты говоришь... – шепотом, испуганно повторяла Мери. – Милая, опомнись, это просто раненый человек...

– Да как же ты можешь?! Как ты можешь, бессовестная?! – взвилась Дина так, что Мери зажала ей рот. Дина яростно отшвырнула руку подруги. – Мери! Я... глазам своим не верю! Ты же... ты же княжна Дадешкелиани! Ты можешь сколько угодно играть в цыганку, но ты все равно... Они же... Они убили твою мать! Моего отца! Зурико!!! Все из-за них, весь этот ужас, вся эта кровь – только из-за них, боже, ты потеряла разум!

– Дина, Диночка, успокойся, на нас смотрят... Дина, нельзя, чтобы цыгане... Дина, ради бога, прошу тебя...

– Ты сумасшедшая... – горько прошептала, закрыв лицо руками, Дина. – Видит бог, ты сошла с ума... Наши, конечно, ничего не понимают, они неграмотны, дики, для них это и впрямь только раненый, но ты!..

– Эй, Динка, воды! – послышался окрик от шатра.

Дина, яростно вытерев локтем залитое слезами лицо, вскочила. Мери поднялась тоже и вырвала из рук подруги ведро.

– Я сама принесу! – И, прежде чем Дина успела возразить, умчалась, гремя ведром и мелькая грязными пятками, к ручью в балке. Дина проводила Мери полными слез глазами, горестно покачала головой. Встала и пошла к шатру.

Пока цыганки возились с раненым, дед Илья устроил допрос Семену.

– Что за гаджо? Откуда его знаешь? Воевал, что ли, с ним? Большой, говоришь, начальник? Беды-то нам не будет через него?

– Воевал. Большой начальник, – коротко отвечал Семен, глядя через плечо деда на сияющий, белый диск солнца. – Беды-то, верно, не будет. Кто знает, что он живой? И что мы его забрали? Пусть останется, дед...

– Казаки знают, – сердито буркнул тот, поглядывая через плечо на хутор. – Ну как сыщут начальника твоего, что тогда с нами будет? Я из-за него все равно здесь не останусь, нам ехать надо, выбираться! Не хватало еще раз под пальбу попасть!

– Так что ж, велишь посреди степи человека бросать? – вполголоса спросил Семен. Его темное, жесткое лицо не выражало ничего.

Дед сплюнул в пыль. Зачем-то оглянулся на шатер. Неприязненно спросил:

– Начальник-то хоть хороший был?

– Стоящий, – буркнул Семен. – Да он, дед, верно, все едино помрет. С таким не живут.

Дед вздохнул, как показалось Сеньке, с облегчением. Повернувшись, зашагал к табору. Семен не спеша тронулся следом. Он застал старых цыганок негромко беседующими у палатки.

– Помер, что ль, гаджо? – удивленно спросил Сенька.

Старухи переглянулись, усмехнулись. Настя объяснила:

– С ним там Меришка возится. Она фершалка, знает, что делать.

Ночью ни Мери, ни Дина, ни старая Настя не легли спать. У раненого, который так и не пришел в себя, начался жар: Мери не успевала менять мокрые тряпки у него на лбу и обтирать лицо. Дина куда-то пропала; старая Настя варила на углях в котелке настойку из пряно пахнущих трав. Дыхание раненого было тяжелым, хриплым; после полуночи начался бред.

– Пахомов, заряжай... огонь... Пахомов, чертов сын, заряжай... Обходят, лавой обходят, сволочи... – метался он на пестрой цыганской подушке. – Это казаки, казаки... Огонь, Пахомов! Ганькова... взводом послать... Отрежут, отрежут!

– Товарищ, миленький, да спокойнее же... – шептала Мери, силой удерживая его за плечи на перине. – Не отрежут, ничего... Сейчас Ганькова пошлем со взводом и в атаку пойдем, не беспокойся...

Полтора года Мери проработала сестрой милосердия в московском госпитале, и сейчас ей нетрудно было понять, что раненый вряд ли выживет. Его загорелое дочерна, заросшее многодневной щетиной лицо сильно заострилось, веки запали, потрескавшиеся губы стали сизого цвета. Перевязку Мери сделала как можно аккуратнее, но кровопотеря была слишком сильной. «Умрет...» – в отчаянии подумала девушка, в который раз снимая со лба раненого пересохшую тряпку и вынимая из ведра с водой новую. В глазах у Мери стояла зимняя ледяная ночь, малиновые угли гаснущего костра, Сенькины глаза напротив, слышался его негромкий голос: «А комроты у нас был товарищ Рябченко... Вот тоже человек стоящий, не поверишь! Я ни разу не слышал, чтоб он на кого матом ругался! У нас в роте того не было, как в других...

Вот клянусь тебе, по домам шляться, грабить он никому не давал! И если баб хватать будете, говорил, сам расстреляю на месте, сволочей, Красную армию позорите! А меня он в два дня шашкой рубать выучил, а я до этого той шашки и в руках не держал! Кабы не он – в первой же атаке положили б... Еще все хотел меня грамоте научить, даже буквы успел показать... А то, говорил, конокрад несознательный, так и помрешь в потемках, не разберешься, какая кругом жизнь начинается! Прав был человек... ни черта я так и не понял!»

За спиной послышался шорох.

– Все так же, тетя Настя, – не оборачиваясь, сказала Мери. Но юбка прошуршала совсем близко, и, скосив глаза, изумленная княжна увидела, что рядом на перину садится Дина.

– Ну, как? – коротко спросила она.

– Плохо, – шепотом отозвалась Мери. – Думаю, что к утру – все... Чем я помогу? Ни медикаментов, ни наркоза... Йода – и того нет! Бинтов из тряпок нарвали вот...

– Пуля застряла?

– Да...

– Надо бы вытащить... – Дина умолкла на полуслове.

Взволнованная голосом подруги Мери тщетно пыталась в темноте заглянуть в ее лицо. Но Дина, ничего больше не говоря, развернула на коленях небольшой сверток.

– Что это? – изумленно спросила Мери.

– Йод вот здесь, – мрачно отозвалась Дина. – Медикаменты кое-какие. Правда, немного... Это от лихорадки... И бинты вот есть.

– Но... откуда?! – всплеснула руками Мери. – Диночка! Дорогая моя, откуда же?!.

– В Рославле выменяла на папиросы. – Дина помолчала. – Так... на всякий случай. Подумала – может, в таборе кто заболает, вдруг дети... – Отсвет костра снаружи упал на ее лицо, и Мери увидела, что подруга беззвучно, не вытирая слез, плачет. – Вот ведь как бог расположил... На этого... на это... все уйдет...

– Дина, какая же ты, в самом деле, умница! – Мери бережно взяла в руки бутылочку йода. – Помоги мне, поддержишь его. Впрочем... нет, не надо, если тебе противно, я попробую сама...

– Ай, какая теперь разница... – устало вздохнула Дина. – Давай уж я подержу, а ты делай. У тебя рука легкая... Подожди, света принесу.

Она вышла из шатра. Вернулась со сковородкой, полной углей, раздула их, и по крыльям шатра взобрался наверх красноватый свет. Тени склонившихся над раненым казались в нем огромными.

– Дина, он здоровый, как медведь, держи крепче, навались всем телом... Крепче, может дернуться! Ну, с богом! Делаю!

– Дэвлэса...<sup>27</sup> Я держу... – Дина с силой прижала к перине плечи командира. Но это оказалось ненужным: то ли у Мери действительно была легкая рука, то ли раненый, находящийся без сознания, ничего не почувствовал, но он даже не вздрогнул.

Спустя несколько минут угли в сковородке затянулись пеплом, а Мери бережно завернула в тряпицу оставшиеся медикаменты.

– Теперь надо ждать, – произнесла Дина и, поднявшись, быстро пошла к выходу из шатра. Уже уходя, вдруг обернулась. – Надо его по-цыгански одеть. И форму спрятать, а лучше – сжечь. Мало ли что.

– Вот это верно, – согласилась Мери. – Я сама и сделаю утром.

– Не вздумай! – всполошилась Дина. – Что наши цыгане скажут! Ты же – девка! Незамужняя! Куда тебе мужика переодеть?

– Дина, но я же работала в госпитале... Мы с тобой там все на свете видели!

<sup>27</sup> С богом... (цыганск.)

– Этим, – Дина махнула в щель выхода, показывая на палатки, – все равно, поверь мне! Пусть старухи сделают, только поскорей!

– Хорошо... Диночка, а может быть...

Но Дина, не слушая ее, быстро, почти бегом вышла из шатра в ночь. Мери закрыла лицо руками и с минуту молча, неподвижно сидела так. Затем выпрямилась, вытерла слезы, улыбнулась и потянулась за тряпкой на лбу раненого. Птица в степи смолкла. Мери вытерла мокрые ладони о юбку, прилегла на край перины, за угол подтянув к себе подушку. «Надо бы выйти из шатра, наверное, неприлично...» – подумала она. И тут же заснула.

Разбудил Мери солнечный луч, бьющий в лицо. Сначала она никак не могла вспомнить, отчего так страшно ломит в висках, так тяжелы веки и так сильно хочется спрятать голову под подушку и спать дальше. Но рядом послышался негромкий, ласковый голос старой Насти, и, вслушавшись в него, Мери подскочила, как обожженная.

– Ты пей, брильянтовый... Пей чаек, товарищ мой драгоценный, пей... Я еще налью... Давай, голову-то поддержи... Симка, Танька, Динка, да кто-нибудь! За водой – бегом!

– Я сбегаяю! – вскочила Мери. Голова еще кружилась спросонья, перед глазами плыли зеленые пятна. Девушка яростно потерла веки ладонью – и увидела, как старуха, придерживая голову раненому, бережно поит его из глубокого блюдца темным, остро пахнущим отваром. Глаза Рябченко были закрыты, но глотал он сам, и Мери видела, как часто, сильно поднимается его грудь. Жив!

– Значит, кризис прошел... – пробормотала она.

– Что ты там бурчишь, девочка? – не оборачиваясь, переспросила Настя. – Воды ведь обещала!

– Да, да! Я сейчас! – Мери схватила ведро и кинулась прочь.

Прямо у потухших углей снаружи она столкнулась с Диной: бледной, осунувшейся. «Верно, не спала совсем...» – подумала Мери.

– Помер? – тусклым, почти безразличным голосом спросила та.

– Нет, напротив! Живой! Тетя Настя ему свой чаек дает! Кризис прошел, ты не переживай! – Мери понимала, что подруге должна быть неприятна ее радость, но, как ни силилась, не могла убрать с лица сияющей улыбки. – Дина, прости меня, но... но я так рада! Ужасно рада! Я ведь почти всю ночь над ним сидела и думала – напрасно... Дина! Вспомни, сколько раз мы с тобой в госпитале стояли вот так же над больными и думали – хоть бы этот выжил... хоть бы тот не умер... А почти никто не выживал. И вдруг – такое счастье! Здесь – в чистом поле, после страшного ранения, после потери крови... Это же чудо, Дина! Разве нет? – упавшим голосом спросила Мери.

– Наверное. – Дина улыбнулась, подняв на нее измученные, полные слез глаза. – Боже, Меришка... Какая же ты счастливая... Я так завидую тебе, право... – Растерянная Мери потянулась было обнять ее, но Дина, всхлипнув, несильно оттолкнула подругу от себя. – Да беги, беги, неси воды! Чтоб он, этот ваш комиссар, лопнул от нее!

Ближе к вечеру решили трогаться в путь: всех пугала свежая могила неподалеку и опасность того, что бои начнутся снова. Рябченко положили на телегу Сеньки, поудобнее устроив среди мешков и перин. Его голову держала на коленях Дина. Огромное, все в душном, тревожном мареве солнце обдавало запрокинутое лицо Рябченко рыжим светом. Раненого уже переодели в застиранную рубаху Сеньки, которая трещала на могучих плечах красного командира, и старые, латанные-перелатанные штаны. «Правда, на цыгана похож... – грустно усмехнулась Мери, заглядывая в телегу. – И даже лошадиным потом теперь пахнет...»

Целый день и ночь провели в дороге: цыгане спешили поскорей отъехать от страшного места. Почти все время пути Мери прошла рядом с телегой, чтобы не мучить лошадей, и только ближе к рассвету, повинувшись полусердитому оклику старой Насти, взобралась на узлы и сразу же заснула мертвым сном, неудобно прислонившись виском к пузатому медному самовару.

Она очнулась оттого, что телега резко дернулась и самовар выскользнул из-под головы. Почувствовав, что скатывается вниз, Мери неловко ухватилась за узел с посудой, села, помотала головой. И увидела такое, что остатки сна исчезли, словно смытые ледяной водой. Табор стоял посреди дороги. Блеклые утренние лучи освещали всадников перед ним.

Сначала Мери показалось, что это какие-то бандиты: уже не раз на пути табора встречались орды плохо одетых людей, вооруженных чем попало, от револьверов и винтовок до ветхозаветных палашей. Это были и махновцы, и отбившиеся от своих частей солдаты, и просто последователи разнообразных батек, которые стояли «за народную землю», за «самостийность», за «волю вольную» и бодро грабили всех, кто попадался на пути. Цыган они не трогали, поскольку взять с оборванного табора было нечего, но всякий раз при приближении веселого отряда девки кидались мазать сажей или грязью лица, всклокочивать волосы и прятаться под подушки на телегах, а мужчины, если успевали, отгоняли в степь лошадей получше. Но сейчас, взглядевшись во всадников, выросших перед притихшим табором, Мери убедилась, что перед ней не махновская вольница. Это были казаки: в плохом, обтрепанном обмундировании, заросшие щетиной, с усталыми лицами. Мери заметила, что у двоих перевязаны головы под выгоревшими от солнца фуражками. Один из них, совсем молодой, в линялой, плохо заштопанной гимнастерке, в упор посмотрел на княжну. Она осторожно улыбнулась ему. Казак резко отвернулся. И тут Мери стало страшно по-настоящему. По горлу, мешая дышать, медленно начал подниматься холодный комок. Машинально она обернулась на телегу Сеньки, где находился раненый. Тот так и не пришел в себя и лежал на спине, хрипло, тяжело дыша. Голова его по-прежнему была на коленях Дины. В распахнутом вороте цыганской рубашки тускло блеснул медный крест. «Хорошо, что он крест носит... – как во сне, подумала Мери. – Красные, кажется, их снимают... Коммунисты уж наверняка... Может, это Сенькин крест?..» Ее сбивчивые, испуганные мысли были нарушены негромким, спокойным и четким голосом одного из всадников:

– Цыгане, стоять на месте! Не двигаться, не бежать! Предупреждаю, мы будем сразу же стрелять!

– Куда нам бежать, ваша милость? – спокойно и даже слегка раздраженно ответил дед Илья, выходя вперед и останавливаясь прямо перед большой гнедой лошадей говорившего. – Не беспокойтесь, с места не тронемся, коли вашему благородию так угодно. А что случилось, дозволейте спросить?

Мери невольно восхитилась самообладанием старика и, вытянув шею, всмотрелась в лицо начальника казаков. Это был человек лет сорока, с офицерскими погонами, в неожиданной фуражке, из-под козырька которой смотрели серые, воспаленные от бессонницы глаза. Он обвел тусклым, невыразительным взглядом настороженную толпу цыган. Коротко приказал:

– Слезть с телег!

Цыганки, сидящие на возах, молча попрыгали на землю, снимали детей. Мери соскочила тоже и сразу же обернулась на Сеньку. Тот стоял возле лошадей, поглаживая морду воровного, пристально смотрел на казаков. Темное лицо его было неподвижным.

– Ваше благородие, да что же вы мне людей страшаете? – мрачно спросил дед Илья. – Вы уж объясните, в чем дело, мы и сами вам поможем, коли нужда есть. Господин офицер, может быть, не знает: цыгане в военные дела отродясь не путались, наше дело – кони да телеги, а боле ничего...

Офицер, не слушая старика, через плечо бросил казакам короткое приказание – и те, попрыгав с коней, быстро пошли к телегам. Вскоре в дорожную пыль полетели аккуратно уложенные цыганками накануне узлы, перины, подушки.

– Ай, да что же вы, бессовестные, репей вам под седло, делаете?! – заверещала Копченка, когда ее большое зеркало в резной деревянной раме со звоном раскололось о дорожный

камень. – Вещь хорошая чем вам, ироды, помешала?! Да скажите хоть, что ищете, я своими руками отдам, чем попусту добро переводить!

– Замолчи, дура, – коротко бросил ей Мардо, и Юлька умолкла на полуслове.

В это время двое казаков подошли к Сенькиной телеге. Один из них посмотрел в запрокинутое лицо раненого, на его перевязанную грудь и бросил через плечо:

– Здесь, господин полковник.

– Все, – подумала Мери.

– Кто это, цыгане? – не повышая голоса, спросил полковник.

Растерянные люди молчали, и снова за всех ответил дед Илья.

– Известное дело кто, ваше благородие, – цыган. Наш, таборный. Второго дня под Безместным сильно стреляли, а нас как раз мимо тащиться и угораздило... Сами видите, как покалечило человека. А на что он вам-то сдался? И так помрет с часу на час...

– Не морочь мне голову, старик, – с чуть заметной усмешкой перебил его полковник. – Это красный командир, и вы его подобрали вчера после боя под хутором Безместным. Как видишь, мне все известно.

– Христос с вами, господин офицер! – сердито заметил на это дед. – Какой красный? Какой командир, когда это Гришка наш? Был бы он неподстреленный, сам бы вам подтвердил. Вон, сколько народу ни есть, все скажут. Вот и дети его стоят...

– Верно, верно, ваша милость... Наш это цыган... – послышалось нестройное гудение голосов.

Мери кивала и крестилась вместе со всеми, но страх тискал сердце холодной, липкой ладонью. «Он не поверит... – в отчаянии подумала девушка. – Ни за что не поверит, потому что знает наверняка... Кто ему сказал, кто донес?!»

– Недобудько, Арканов, тащите эту сволочь с телеги, – не повышая голоса, велел полковник. – А ты, цыган, сам подписал себе приговор. И всем прочим тоже. Согласно приказу Главнокомандующего, коммунистам и сочувствующим им – расстрел на месте.

Ошеломленная тишина – и многоголосый вопль такой силы, что вскинулись на дыбы с испуганным ржанием казачьи кони. Женщины, попадая на колени, захлебывались пронзительными криками, следом взвыли дети. Копченка и остальные четыре невестки деда Ильи, не сговариваясь, рухнули в ноги полковнику:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.